

Р Е Л И Г И Я

К.С. Льюис

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПСАЛМАХ

/пер. с англ./

## ВВЕДЕНИЕ

Это не ученый труд. Я не гебраист, не экзегет, не археолог, не историк Древнего мира. Я пишу для неученых о том, о чем и сам не много знаю. Если мне надо просить за это прощения, я прошу его примерно так: очень часто два школьника могут помочь друг другу лучше, чем учитель. Сообщив ему о своих затруднениях, он, как все мы помним, будет объяснять то, что они и без него знают, и то, чего они знать не хотят, но ни слова не скажет им в ответ. Я видел это с обеих сторон — я ведь учитель, и сам пытался отвечать ученикам, но быстро замечал по их лицам, что и я, как и мой учитель, потерпел поражение. Соученик поможет лучше, потому что он знает меньше. Он сам недавно думал о том же, что и его друг. Учитель же думал об этом так давно, что все позабыл. Теперь он видит предмет совсем по-иному, и просто понять не может, в чем затруднение. Видит он и десятки других затруднений, ученику неведомых.

И вот я пишу, как любитель любителю. Я расскажу о трудностях, вставших передо мной и о моих догадках, надеюсь, что это поможет неопытным читателям псалмов или хотя бы тронет их. Я не учу, я просто показываю тетрадь. Кто-то сказал мне, что псалмы для меня — вешалки, на которые я развесил собственные мысли. Не вижу, какой от этого вред; и если кто-нибудь так прочитает книгу, я не огорчусь. Но писал я ее не так. Все мысли, какие тут есть, вызваны чтением псалмов. Я думал о том, о чем вы читаете, радуясь тем или иным строкам или встречая строки, которым радоваться не мог.

Разные поэты слагали псалмы, и в разное время. Насколько мне известно, некоторые псалмы разрешено относить ко временам Давида, а псалом 17, который мы встречаем в немного ином виде, читая 2-ю книгу Царств, глава 22, сложен самим царем.

Но есть и псалмы, сложенные после плена /который сейчас бы назвали перемещением в Вавилон/. В ученом труде пришлось

бы уточнить хронологию; в такой книге, как эта, я не должен и не вправе о ней говорить.

Зато я должен сказать, что псалмы — это стихи, причем такие, которые пели вслух. Не трактаты, даже не проповеди, — а стихи. Те, кто предлагает читать Писание "ради его литературных достоинств", хотят, вероятно, чтобы мы не обращали никакого внимания на его суть, сердцевину, центр. Мне кажется, это бессмысленно. Однако их совет можно толковать иначе: Писание — это книга, и потому, читая его, мы поневоле входим в область словесности. В нем есть разные жанры. Псалмы — это лирика, со всеми ее условностями, гиперболами, внелогическими сочетаниями слов. Если об этом не помнить, псалмов не поймешь; увидишь в них то, чего в них нет, и проглядишь главное.

Очень важную особенность их формы можно сохранить в переводе. Это — так называемые параллелизмы: одно и то же сказано дважды, по-разному. "Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им". "И выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень". Если читатель не видит, что это — прием, он станет думать, в чем же разница, и в конце концов ее выдумает /так пелах в старину многие проповедники/, или просто устанет, или удивится.

На самом же деле этот прием воплощает самую суть искусства. Кто-то сказал, что искусство — это "то же самое, иначе". Танцуя народный танец, вы делаете три прыжка вправо и три таких же прыжка влево. Если в здании есть левое крыло, в нем есть и правое. В музыке можно сказать ABC, потом авс, потом *ABC*. "Параллелизм" — характерная для древних евреев разновидность "того же самого, но иначе", однако, встречается он и у английских поэтов. Очень хороший пример — в детской рождественской песенке:

Иосиф — старик, он старший человек.

Конечно, прием этот не всегда выступает в таком неосложненном виде. Иногда его заметишь не сразу, как прикровенную симметрию хорошей картины. Но сейчас мне важен самый факт, само наличие такого приема. Какая удача, нет — какой парадокс, что у стихов, которые должны были прозвучать на



всех языках, сохраняется в переводе главная особенность формы!

Если вы хоть немного чувствуете стихи, эта особенность вас обрадует. Если же не чувствуете, то ощутите к ней почтение: она радовала Христа. Он любил ее и употреблял. "Ибо каким супом судите, таким будете сулимы; и какой мерою мерите, такую и вам будут мерить" /Мф. 7,2/. "Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам" /Мф 7,7/ Можете считать, что цель тут — практическая, учительная: Господь облакает Свои речения в такую ритмическую, почти напевную форму, что их просто невозможно забыть. Но я думаю, что это — не все. Когда Тот, Кто замыслил Себе и нам на-радость прекрасный, как стихи, мир, удалился по человеческой речи, речь эта неизбежно стала подобной стихам. Ведь поэзия — малое Воплощение, она дает плоть невидимому и неслышимому поселе.

И еще, я думаю, нам не повредит, если мы вспомним, что, воочеловечившись, Иисус принял благое бремя наследственности и детских впечатлений. Он перенимал эту поэтическую форму хотя бы от Своей Матери. Смотрите: "призрел Он на смирение рабы Своей... сотворил Мне величие сильный... явил силу мышцы Своей..." "рассеял надменных... низложил сильных с престолов" /Лк. 1,48-52/. Прием этот применен здесь тоньше, чем в псалмах, но он есть. /Скажу, наконец: только ли в этом Он был похож на Нее? Не кажется ли вам, что в трогательном *Magnificat* есть и суровая сила Деборы, которой не найдешь в наших нежных Малоннах? Я думаю часто, что жизнь Святого Семейства была, конечно, и мирной, и кроткой, но не совсем в том смысле, какой придают этим словам авторы церковных гимнов. Не было ли в ней и напряженной печали, и резкой деревенской прямоты, неприятно поражавшей иерусалимских горожан?/

Даже на своем, любительском уровне я не собираюсь "охватить весь предмет". Я буду говорить только о том, что задело меня самого. Об исторических псалмах я ничего не скажу — и потому, что они меньше для меня значили, и потому, что они, наверное, вызывают меньше вопросов. Начну же я с того,

что больше всего отталкивает современного читателя Псалтыри. Наше поколение приучено получать все готовеньким, как дети; а добрые, старинные няни падали сперва то, что есть труднее, а сладкое — в самом конце.

Всякому читателю станет ясно, что это — не так называемая "апология". В этой книге я не убеждаю неверующих в истинности нашей веры. Я обращаюсь к верующим или хотя бы к тем, кто открывает Псалтырь, чтобы покрепить свою зарождающуюся веру. Нельзя непрестанно защищать истину; надо и наслаждаться ею.

И последнее. Я старался, как мог, избежать конфессиональных распри. В одном месте мне пришлось объяснить, в чем я не согласен и с католиками, и с протестантами; надеюсь, читатель не подумает, что я "вообще против" тех или других. Еще я надеюсь, что ни тех, ни других не обидел; но здесь, собственно говоря, бояться нечего. Опыт показал мне, что обижаются и оскорбляются не сильно верующие люди, и даже не атеисты, а те, кто верит как бы наполовину. Вот их не умирить никакими оговорками, не обезоружить кротостью. Но я ведь, наверное, гораздо неприятней, чем мне самому кажется. /Быть может, в чистилище мы увидим свои лица и услышим свой голос?/

## II СУД

... Христианин трепещет при мысли о Божьем суде. День суда для нас день гнева, "*Dies irae*". Мы молим Бога помиловать нас в час смерти и в день суда, мы просим о добром ответе на "Страшном судилище Христовом". Христианское искусство столетиями изображало его ужасы, и мотив этот восходит к словам Самого Спасителя, особенно — к страшной притче об овцах и козлицах. Ничья совесть не останется к нему глухой, ибо грехи "козлиц" — не в том, что они падали, а в том, чего не сделали; и кто не ужаснется, когда ему твердо говорят, что самое тяжкое обвинение против каждого из нас основано на вещах, которые, быть может, нам и в голову не приходили!

Поэтому я очень удивился, заметив впервые, как говорят псалмодеицы о Божьем суде. Говорят они так: "Да десятилятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы праведно". "Да радуется поле и все, что на нем, и да ликуют все перева пубравные перед лицом Господа, ибо ищет, идет судить землю". Люди радуются суду, просят о нем: "Суди меня по правде Твоей, Господи, Боже мой".

Скоро я начал понимать, в чем тут дело. Ветхозаветные люди, как и мы, представляли Господень суд в образе земного суда. Но мы, христиане, видим на скамье подсудимых себя самих, иудеи же видели там своих обидчиков, а себя считали истцами. Мы надеемся на оправдание, то есть хотим, чтобы суд был пощадительнее; им нужно, чтобы суд судил строго. В притче об овцах и козлицах Христос говорит "по нашему", но есть и тексты, предполагающие иудейский образ суда. Вдумайтесь в притчу о судье неправедном. Мы представляем себе кого-то вроде члена немецких трибуналов — человека, кричащего на свидетелей и осуждающего невинных, к которому мы надеемся никогда не попасть. Но судья из притчи — совсем другой. Вы не претанете перед ним, если не хотите; трудность совсем иная: трудно к нему попасть. Богатый и сильный сосед забрал у вдовы крохотный участок, где только и поставишь, что насест или сарай /сейчас "соперни-

ком" стали бы городские власти, планирующие новый район/. Она знает, что это — беззаконие. Если ей удастся подать жалобу, она выиграет дело. Но никто не желает ее слушать. Удивительно ли, что она хочет суда?

Мы это плохо себе представляем, потому что иначе живем; но так жили много веков, во всем мире. Почти всегда и везде "маленькому человеку" было очень трудно подать иск. Надо было подкупить судью и еще человек двух, преградивших к нему путь. Наши судьи не берут взяток /мы слишком привыкли к этому и не радуемся, а зря — само собой это не продержится/; поэтому не нам удивляться, что псалмопевцы и пророки непрестанно просят суда, и весть о нем для них — благая весть. Еще бы! Весть только тогда победная, правды неисчислимое множество несправедливо обиженных людей. Конечно, они суда не боятся. Они знают, что дело их — правое. Но кто его выслушает, пока не придет Бог? —

Это будет еще яснее, когда мы прочитаем соответствующие места в псалмах. В псалме 9 говорится, что Бог "будет судить вселенную по правде", ибо Он "не забывает вопли угнетенных". Он — судья вдов, то есть не осуждает их, а защищает. Добрый царь 72 псалма "судит праведно людей Твоих" /т.е. Божьих/ и "нищих Твоих на суде". Он "судит нищих народа", "спасет сынов убогого и смирит притеснителя". В 76 псалме "восстал Бог на суд", чтобы "спасти всех угнетенных земли" — всех давитых, беспомощных бедняков, — не дождавшихся правого суда от человеческих судей. Когда Господь обвиняет этих судей в 72 псалме, Он говорит: "Давайте суд бедному и сироте; угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего".

Таким образом, праведный судья прежде всего выправляет несправедливость, восстанавливает правду в гражданском деле. Конечно, он рассудит и дело уголовное, но не о том думают псалмопевцы. Христиане просят Бога о милости и страшатся Его правды. Мудрецы просили о правде, — страшились же неправды /конечно, человеческой/. Господь-судья — это защитник. Ученые говорили мне, что судьи из "Книги Судей" — собственно, защитники; они вершили иногда суд, но боль-

ше и чаще защищали, выручали израильтян, спасали и от филистимлян, и от других врагов. Для нас, англичан, они ближе к Джеку Грозе великанов, чем к супле в белом парике. Похожи на них и рыцари средневековых романов, и наши поваренные, бесплатно ведущие дела бедных людей.

Несомненно, христианское представление о суде и глубже, и душеполезнее иудейского. Но это не значит, что мы должны просто забыть иудейское, отбросить. Я, во всяком случае, могу извлечь из него немалую пользу.

Дело в том, что оно уточняет христианское представление. Нам, христиан, тревожит, если напугает, совершенная чистота того, с чем Бог сравнит наши действия. Но мы знаем, что никто до этого не потягивает, все грешны, и остается уповать на милость Божью и Христово искупление. Иудейское же представление резко и ясно напоминает нам о том, что мы грешны, быть может, не только по сравнению с "Божьим стандартом", но и по сравнению с вполне выполненным и общепризнанным стандартом человеческим, который мы сами применяем, когда судим других. Почти наверняка мы кого-нибудь обидели, кому-то не помогли, от кого-то отвернулись. Кто посмеет сказать самому себе, что ни с начальством, ни с подчиненными, ни с детьми, ни с родителями, ни с мужем или женой не погрешил против справедливости, не говоря уже о милосердии? Конечно, мы забываем нанесенные нами обиды. Но те, кого мы обидели, не забывают их и не прощают. Не забывает и Бог. Даже то, что мы помним, ужасно. Мало кто из нас давал ученикам, детям, подчиненным, словом, тем, над кем мы возвышены, — все, чего мы хотели бы в таком же случае для себя.

Наши ссоры очень хорошо показывают, чем отличаются друг от друга христианское и иудейское представление о суде. Как христиане мы должны каяться в раздражительности и себялюбии, без которых конфликта бы не было. Но есть и другая проблема, на другом, более низком уровне: "Конфликт возник; честно ли я сражался?" Быть может, я делал вид, что оскорблен, — ведь я так раним, так тонок — когда на самом деле меня терзали зависть, досада, самолюбие, злобначалие? Быть может, я делал вид, что негодую, а



злись совсем на другое, и мотив мой был гораздо низменней? Такая тактика нередко приводит к победе — противник уступает, и не потому, что поверил; он просто знает, что копни он поглубже, скажи нам правду, не прими нашей игры, и мы с ним начисто рассоримся. Он знает, что нужна операция, а мы ее не вынесем. И мы побеждаем; но побежденный тяжко ранен нашей нечестностью. Так называемая чувствительность — очень мощное оружие; иногда на ней опирается поманимая тирания. Не знаю, как нам быть, когда ее прикрываются другие, но в себе мы должны убивать ее в самом зародке.

Вероятно, вы заметили, что я как-то приспособляю к нам ветхозаветную концепцию, воображая себя не истцом, а ответчиком. Псалмопевцы так не делали. Они хотели суда, потому что считали себя, именно себя, несправедливо обиженными. Правда, и в псалмах есть строки, где автор приближается к христианскому смирению и мудро отказывается от самоправедности. В 49 псалме /вообще одном из лучших/ обвиняет Бог, а в 140,2 мы читаем такие знакомые слова: "не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается перед Тобой ни один из живущих". Но это — исключения. Почти всегда псалмопевец — неголующий истец.

По-видимому, он уверен, что его-то руки чисты. Он никогда не причинял другим тех страшных обид, которые причиняют ему. "Господи, Боже мой! если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мной в мире, — я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою, и настигнет; пусть втопчет в землю жизнь мою, и славу мою повергнет в прах". Но я ведь ничего такого не делал! Враги не мстят мне за зло, они "воздают злом за добро", а я поступаю с ними, как требует милосердие. /см. псалом 35/.

Конечно, здесь таится опасность. Именно здесь проходит путь к тому ветхозаветному самоповольству, которое так яростно обличал Спаситель. Скоро мы об этом поговорим, но сперва я замечу: считать себя правым — одно, считать себя праведным — другое. Никто из нас не праведен, и пото-

му второе мнение всегда ошибочно. Однако многие из нас, — а может быть, и все, бывают в чем-нибудь правы. Более того: плохой человек может быть прав, а хороший — неправ. Вопрос в том, Чарли или Томми принадлежит карандаш, никак не связан с вопросом о том, кто из мальчиков лучше, и не дай Бог ропителям впасть в эту ошибку. /Еще хуже, если они скажут Томми, чтобы он был добрым мальчиком и отпал Чарли карандаш, хотя Чарли и неправ. Может быть, он и вправду лучше, но права эта — не ко времени. Вынужденная милость хуже суровой справедливости. Томми запомнит на всю жизнь, что милость и доброта — ханжеская уловка, выгодная вору и любимчикам/. Мы ни в коем случае не должны думать, что псалмопевцы — в заблуждении или просто лгут. В определенное время, в определенном деле они действительно правы. Быть может, нам неприятен их голос, он недостаточно мягок — но несправедливо обиженные люди редко бывают мягкими.

И все же прискорбное смешение "правых" и "праведных" не миновало их. В псалме 7 мы видим самый переход. Вначале псалмопевец прав, в стихе 9 он уже праведен: "Суди меня, Господи, по правде моей и по неопороченности моей во мне". Бывает смешение и похуже: жажда суда нерасторжимо переплетается с жаждой мести. Об этом мы поговорим отдельно. Псалмы, где речь идет о собственной праведности, мы разберем через несколько глав; псалмы, где речь идет о мщении, — сейчас, в следующей главе. Именно из-за них священники боялись прмучать людей к Псалтири. Но должна же и от них быть польза христианам, если мы верим /а я верю/, что Писание боговдохновенно! /Я скажу позже, почти в конце, как я это понимаю/.

## ПРОКЛЯТИЯ

Когда мы читаем некоторые псалмы, ненависть пышет нам в лицо, словно жар из печи. Иногда эта ненависть не пугает, но лишь потому, что смешна современному уму.

Примеры ненависти пугающей можно найти во многих местах, но самый ужасный, наверное, — в псалме 108. Автор просит Бога, чтобы тот "доставил нечестивого" нап его врагом, "да диавол да станет опеснует его". /По-видимому, смысл здесь не совсем такой, какой привидится читателю-христианину. "Диавол" — это обвинитель, быть может, доносчик/. "Когда будут судиться, да выйдет виновным, и молитва его — да будет в грех". /Тут, мне кажется, речь идет не о молитве к Богу, а о мольбе, обращенной к человеку, к судьбе/. "Да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой. Дети его да будут сиротами, и жена его — вдовою. Да скитаются дети его и нищенствуют, и просят из рабахаи своих... Да не будет сострадающего ему; да не будет милующего сирот его". Еще ужасней один стих из прекрасного 136 псалма — о вавилонских младенцах. И поистине бесовская, утонченная злоба в 68,23: "Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их — западня".

Примеры, вызывающие улыбку, если не смех, особенно режут слух в любимых псалмах. Так, в псалме 1 и 2, после одиннадцати стихов, над которыми чуть не плачешь, вдруг, как приписка /Ах ты, чуть не забыл!/. идет: "и по милости Твоей истреби врагов моих". Еще простодушной совсем уж детский возглас 138 псалма: "О, если бы Ты, Боже, порази нечестивого!" — словно автор удивляется, как это Всемогущему не пришло в голову такое простое средство против зла. Самый чудовищный пример — в одном из лучших псалмов, 22-м; после злых пажитей, тихих вод, твердой помощи "посреди сени смертных" мы натываемся на такие слова: "Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих", то есть я пирую, а они смотрят! Поэт не может, по-видимому, радоваться Божьим дарам, если эти гнусные враги не увидят



их и не изойдут завистью и злобой. Быть может, здесь меньше бесовского, чем в том стихе, который я цитировал раньше, но мелочность и пошлость такого чувства вынести невозможно.

Конечно, мы можем просто не обратить внимания, отбросить эти стихи. Но, как ни жаль, они не вычлениются, они переплетены с поистине дивными строками. Если же мы все еще верим, что Писание — священно, или, хотя бы, что христиане, читая веками псалмы, не действовали прямо против Божьей воли; если мы помним, что Сам Господь непрестанно черпал из псалмов и образы, и слова, — мы попытаемся извлечь пользу из этих стихов. Какую же?

Сейчас я буду говорить не обо всей пользе, а о части ее — другую часть вы найдете в главах об иносказании. Кроме того, в этой главе речь пойдет лишь о пользе, по которой постепенно, очень медленно подумался я сам.

Поначау я твердо верил /верю и теперь/, что нельзя думать так: если такие фразы есть в Библии, значит, мстительность и злоба каким-то образом и благочестивы, и хороши. Однако нельзя и спелать вид, что ненависти тут нет вообще. Она есть — неприкрытая, гложущая, злорадная — но мы согрешим, если станем оправдывать эту страсть в ком бы то ни было, а хуже всего — в себе. Все пальнейшие рассуждения возможны только в том случае, если вы примете эти предпосылки.

Как всегда, мне прежде всего помог как бы и внеерелигиозный опыт. Я вдруг узнал эти чувства. Все мы их знаем. Это — досада, выраженная так свободно, бесстыдно, непристойно, как в наши дни ее выражают одни только пети. Конечно, я не подумал, что древние израильтяне жили без ограничений и условностей. Восточные и древние культуры во многом условней, ритуальней, вежественней нашей. Но полагая они не то, что полагали мы. Они не скрывали злобы ради приличия и не боялись, что их назовут неврастениками. Поэтому мы и видим здесь злобу, как она есть.

Казалось бы, после этого я должен был обратить взор в собственное сердце. Действительно, весьма душеполезно



Встречая в псалмах проклятия, нельзя просто ужасаться. Да, проклятия ужасны. Но получаем не о том, как злобен псалмопевец, а о том, что его по этому поведо. Именно такую злобу, согласно естественному закону, рожают жестокость и несправедливость. Отнимите у человека имущество, честь или свободу, и вы отнимаете у него чистоту, а может — из-за вас он перестанет быть человеком. Не все жертвы кончают с собой, многие живут, и живут они злобой.

Тут мне пришла в голову другая мысль, и повела меня совсем не туда, куда я думал. Псалмопевец реагирует на оскорбление естественно, но неверно. Казалось бы, можно сказать, что он — не христианин и лучшего не знает. Однако объяснение это поверхностно по двум причинам.

Первая причина. Суля по Писанию, иудеи лучшее знали. "Не враждуя на брата твоего в сердце твоём, не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люди ближнего твоего, как дамого себя" — говорит им Господь в Книге Левит. А в "Исходе": "Если найдешь вола врага твоего, или осла его, заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего, упавшим под игою своею, не оставляй его; развьючь вместе с ним". "Не рабуйся, когда упалет враг твой, — читали они в "Дритцах Соломоновых", — да не веселится сердце твое, когда он споткнется". Никогда не забуду, как бы я поражен, когда открыл, что слова апостола — прямая цитата из той же книги: "Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напой его водою. Ибо ты собираешь горячие угли на голову его". Это — одна из наград тем, кто часто читает Ветхий Завет. Все больше и больше видишь, как много цитат из него — в Завете Новом, как непрестанно наш Господь повторяет, прополжает, усиливает иудейскую этику, как редко Он вводит новое. Пока Библию читали многие, это прекрасно знали миллионы неученых христиан. Теперь об этом забыли, и людям кажется, что они чем-то умаляют Христа, если докажут, что вдохновенный документ есть что-нибудь "превосходящее" Его слова. Неужели они думали, что Он — фокусник, вроде Ницше, выдумавший "новую этику"? Любой хороший учитель — и в иудаизме,

и в язычестве — превосхищал Его. Все, что было лучшего в религиозной истории мира, превосхищало Его. Иначе и не может быть. Свет, просвещавший людей от начала, может разгореться, но не измениться. . .

Вторая причина сложнее и удивительней. Если псалом — девцы так злятся, потому что они не христиане, разумно подумать, что у язычников мы найдем такую же или худшую злобу. Быть может, знай я лучше языческую словесность, я бы и нашел. Но в том, что я знаю — у цескольных греков, у нескольких римлян, у считанных скандинавов — ничего подобного нет. Там есть похоть, там много грубой бесчувственности, там принимают как должное холодную жестокость, но нет этой яростной или, если хотите, упоенной ненависти. . . Конечно, я говорю об авторской речи, у разгневанных персонажей она бывает. Поначалу кажется, что древние евреи были истинней и злее язычников.

.. Не будь мы христианами, мы бы махнули на это рукой, подивившись, с чего это Бог выбрал такой неприятный народ. Но мы не можем, мы знаем, что долг наш Израилю неслыханно, неоплатно велик.

.. Когда встречаешь трудность, надейся на открытие. Эта трудность стоит того, чтобы над ней подумать. . .

По-видимому, в мире нравственном есть правило: "Чем выше, тем опасней". "Обычный человек", потихоньку изменяющий жене, понемногу выпивающий, иногда плутующий, не нарушая законов, — несомненно, "ниже", чем тот, кто служит идее, подчиняя ей желания, выгоду и даже самую жизнь. Но именно из этих, "высших", выходят страшные, бесовские люди — инквизиторы, члены Комитета Общественного Спасения. Безжалостным фанатиком становится не обыватель, а потенциальный святой. Тот, кто готов умереть за идею, готов за нее убивать. Чем больше ставка, тем больше искушение. Однако это не значит, что правы и праведны мелкие, плотские, суетные люди. Они не выше искушения, но ниже.

Неспособность к гневу прекрасна, но она бывает и очень плохим симптомом. Я понял это, когда в начале войны шел вместе с молодыми солдатами. Судя по их разговору,

они абсолютно не верили в газетные сообщения о немецких зверствах. Они и не сомневались, что это выдумки, пропаганда, призванная "расшевелить" войска. Но они не возмущались. Им казалось совершенно нормальным, что какие-то люди приписывают врагу чудовищные преступления просто для того, чтобы лучше натравить на него своих подчиненных. Их даже не особенно это трогало, они не видели здесь ничего пурного. И я подумал, что самый яростный из псаломщиков ближе к спасению, чем они. Если бы они ужаснулись сатанинской полноты, в которой заполозрили наших правителей, а потом бы этих правителей пожалели и простили, они были бы святыми. Но они не ужасались, они вообще тут подлости не видели, они считали, что так и следует — и это — знак страшной бесчувственности. Ясно, что у них не было и отдаленного представления о добре и зле.

Итак, неспособность к гневу, особенно — к тому гневу, который зовут негодованием, может быть тревожным симптомом, а негодование — хорошим. Даже если оно переходит в горькую жалость к себе, оно может быть неплохим симптомом. Это грех, но он показывает хотя бы, что человек не спустился ниже уровня, на котором такое искушение возможно. Евреи проклинали жесточе, чем язычники, потому что серьезней относились к злу. Посмотрите, они негодуют не только из-за себя, но и потому, что одиозно вообще, неугодно Богу. Всегда, хотя бы на заднем плане, есть это чувство, а иногда оно выходит и на передний: "Возрадуется праведник, когда увидит отмщение... и скажет человек: поплменно, есть Бог, судящий на земле!" Это непохоже на гнев без негодования — на животную злобу человека, которому враг сделал то же самое, что он сделал бы врагу, будь он посильней или попроворней.

Непохоже, лучше, выше — но и к греху ведет худшему. Вель именно оно, негодование, дает нам возможность освящать худшую из наших страстей. Именно оно позволяет нам прибавлять "Так сказал Господь" к нашим мнениям и чувствам /наверное, именно это и значит "приносить имя Господа напрасно/. Но и здесь верен закон "чем выше, тем опас-



нее". Иудеи грешили против Бога больше, чем язычники, — именно потому, что были к нему ближе. Когда сверхъестественное входит в человеческую душу, оно дает ей новые возможности и добра, и зла. Отсюда идут две пороги: одна — к святости, любви, смирению, другая — к нетерпимости, гордыне, самодовольству. Одной пороги нет — назад, к пошлым грешкам и порокам неразбуженной души. Если Божий зов не делает нас лучше, он делает нас намного хуже. Из всех плохих людей хуже всего — плохие религиозные люди. Из всех тварей хуже всего — тот, кто видел Бога лицом к лицу. Выхода нет. Приходится принять эту цену.

Даже в самых страшных из проклятий мы видим, как близки псаломщики к Богу. Более того: мы слышим Божий голос, чудовищно искаженный плохим инструментом, человеком. Нет, Бог не смотрит так на Своих врагов, Он "не хочет смерти грешника"; Бог смотрит так на самый грех. Господь неумолим, как псаломщик — но не к грешнику, а к греху. Он не потерпит его, не попустит, не войдет с ним в сговор. Он вырвет глаз, отрубит руку, если иначе Ему не спасти Свое создание. В этом ярость псаломщика гораздо ближе к одной стороне истины, чем многие нынешние взгляды, которые тем, кто их исповедует, кажутся христианским милосердием. Она лучше, чем псевдонаучная терпимость, своящая жестокость к неврозу /хотя бывает, конечно, и жестокость, порожденная болезнью/. Она лучше, чем поброта женщины-суки, которая — я сам это слышал — уговаривала вполне сознательных начинающих бандитов "бросить глупости". Когда после этого читаешь псалмы, вспоминаешь, что на свете есть нравственное зло, и Бог его ненавидит. Вот почему я сказал, что голос Его звучит в тех строках, как бы ни искажал его инструмент.

Можем ли мы не только учиться у этих страшных строк, но и употреблять их? Мне кажется, можем; но об этом я говорю в другой главе.

## СМЕРТЬ

Я решил сперва говорить о неприятном, и мне бы надо перейти к самовольству, которое можно обнаружить в некоторых псалмах. Но мы не разберемся в нем, если не поговорим сначала о других вещах. И я поговорю о другом.

По-видимому, наши люди читали и псалмы, и весь Ветхий Завет так, словно авторы его прекрасно знали новозаветное Богословие, только Воплощение было для них не прошлым, а предлежащим будущим. В частности, люди не сомневались, что псалмопевцы верили в вечную жизнь, стремились к спасению.

Надо сказать, тексты тому способствуют. Когда в 48 псалме мы читаем: "Человек никак не искупит брата своего, и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их", как не подумать, что речь идет об искупительной жертве Христа? Но древнееврейский поэт имел в виду другое, гораздо более простое, — что смерти не избежать, земной, земной смерти.

Я так и слышу, как читатель восклицает: "Ох, уж эти ученые! Нет, не нам им портить Библию. Пусть сначала ответят мне на два вопроса — 1) Неужели простые случайности /плохой перевод, порча рукописей и что там у вас еще бывает/ так удачно привели к полному совпадению с новозаветным языком? 2) Хотите ли вы, чтобы мы вообще забыли, отбросили привычные толкования?" Я отвечаю на оба вопроса. Пока же скажу, что отбрасывать привычное толкование не надо, и вернусь к тому, что считаю фактами.

Мне кажется очевидным, что в Ветхом Завете очень мало говорится о вере в будущую жизнь и совсем нет такой веры в бессмертие, которая имела бы мало-мальское религиозное значение. Слово, переводимое как "душа" в наших псалмах, значит просто "жизнь"; слово, переводимое как "ад" или "преисподняя" — просто страна мертвых, где пребывают все умершие, и добрые, и злые.

Трудно представить себе, как древний иудей мыслил



шеол. Он не любит об этом думать. Религия не поощряла таких размышлений. Он верил, что очень опасные люди, вроде эаннорской волшебницы, вызывают оттуда умерших, но те ничего не говорили о шеоле, их и спрашивали не о нем, а о наших, земных делах. Если же он попускал себе такие мысли, он мог впасть в дичество, "есть жертвы бездушным".

За всем этим нетрудно различить представления, свойственные многим древним народам. Современные люди лучше всего знают греческий аид. Это не рай и не ад, это почти ничто. Я говорю о народном веровании — у философов бывали более живые и четкие представления, и поэты могли выдумать что-нибудь поярче; но описания эти относились к народной вере примерно так, как научная фантастика к астрономии. По народной же вере тут и разговаривать было не о чем. Аид — страна теней, мир ничтожеств в прямом смысле этого слова. Гомер считает душой лишенным разума, и это, наверно, довольно близко к народному представлению. Они бессмысленно испочут, пока живой человек не паст им выпить жертвенной крови. Как представляли себе это греки, мы видим по "Илиаде", где говорится, что души убитых идут в аид, а сами они становятся добычей псам и хищным птицам. Сам человек — это тело, пусть мертвое; душа его — что-то вроде отзвука или отражения. И страшная мысль смущает меня: а может, так оно и есть? Может, естественный удел неискупленного человека — разложение души, подобное разложению тела, и он становится лишенным разума "душевым осадком"? Если это так, слова Гомера о жертвенной крови — исключительное, небывалое провидение.

Представления эти, столь туманные у язычников, еще туманней у евреев. Шеол еще неопределенней, еще отдаленней, чем аид. Он беспредельно далек от сердцевины веры, особенно — в псалмах. Псалмопевцы говорят о нем примерно так же, как говорит о смерти атеист — тот, для кого мертвые мертвы, и все...

Нередко это видно даже в переводе. Особенно поразителен вопль 88 псалма: "Кто из людей жил и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней?" Вот и другие стихи:

"Отступи от меня, чтобы я мог покрепиться, прежде, чем я отойду и не будет меня", "и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы", "что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? будет ли прах мой славить Тебя?", "Ибо в смерти нет памятования о Тебе; во гробе кто будет славить Тебя?", "Выходит дух его, и он возвращается в землю свою; в тот день исчезают помышления его".

Иногда кажется, что псалмист просит о "спасении души" в нашем, новозаветном смысле. Это не так. "Ты вывел из ада душу мою" значит: "Ты спас меня от смерти"; "Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня. Тогда я призвал имя Господне: Господи! Избавь душу мою" — примерно то, что мы называли бы "я был при смерти" /не исключено, что речь идет о глубоком отчаянии/.

Из Нового Завета видно, что к тому времени иудаизм сильно изменился в этом отношении. Салпукем придерживались прежних взглядов, но фарисеи и, видимо, кто-то еще верили в будущую жизнь. Сейчас мы не станем говорить о том, как эти изменения происходили. Нам важно другое; сильное религиозное чувство существовало и без такой веры. Многим покажется странным, что Бог, открывший евреям так много, этого им не открыл.

Теперь мне это странным не кажется. Начнем с того, что рядом с евреями жил народ, занятый чуть ли не одной только будущей жизнью. Когда читаешь о древнем Египте, невольно думаешь, что египтяне цеклись прежде всего о своем посмертном благополучии. Господь, по-видимому, не пожелал, чтобы Его народ шел по этому пути. Почему же? Разве можно слишком сильно заботиться о своей вечной участи? Как ни странно, можно.

Сами по себе "блаженство" и "муки" за гробом — вообще не предмет религии. Тот, кто в них верит, будет, скорее всего, избегать мук и стремиться к блаженству. Но религиозного в этом не больше, чем в накоплении денег или в заботах о здоровье. Разница только в том, что ставка выше, и тем самым — неизмеримо больше и надежда, и страх. Но и надежды эти, и страхи — о себе, не о Боге; Бога ищут ради

чего-то другого. Они могут существовать и без веры в Бога. Буддисты очень заботятся о посмертной судьбе, а в Бога не верят.

Может быть, Господь хотел показать людям, что истинная их цель — Он Сам, и только Он. Тогда, конечно, нельзя открывать им сразу истины о спасении и гибели. Если люди слишком рано в них поверят, они не научатся — как бы сказать поточнее? — алкать Бога. Позже, когда столетия духовной выучки их этому научат, дело другое. Те, кто любит Бога, хочет не только быть с Ним, но быть с Ним вечно, и думается Его потерять. Именно поэтому верующий человек надеется на рай и боится ада. Когда же "рай" понимают не как единение с Богом, ад — не как отвержение от Него, вера в будущую жизнь — злое суеверие. На одном его донце — пошлый хеппиэнд, на другом — кошмар, от которого люди схопили с ума или преследовали близких.

Но Бог наш милостив: почти невозможно всерьез исповедовать эту эгзистистическую веру, которая ниже уровня религии. Точнее, исповедовать ее может только невротик. Большинство людей обнаруживает, что вера в посмертное блаженство крепка тогда, когда цель их — Бог. Что же до ада, в старину проповедники всячески старались запугать паству его ужасами, и все удивлялись, как же эти люди живут потом вполне ~~инициально~~ безопасно. Удивляться тут нечему. Проповедники взывали к страху за себя, к заботе о себе, а вера этого уровня не может постоянно определять жизнь — она встряхивает на считанные часы, не больше.

Конечно, все это — мои домыслы; но они окуплены опытом. В другой книге <sup>x)</sup> я рассказывал, что целый год верил в Бога и старался Его слушаться, не веря в будущую жизнь. Этот год и сейчас кажется мне очень важным. Наверное, поэтому я так и ценю те полные столетия, когда в будущую жизнь не верил богоизбранный народ.

У народа этого, как и у нас, было много уровней религиозной жизни, и на некоторых из них роль играла какая-то

x) Льюис имеет в виду книгу "Восхищен радостью", в которой он рассказывает о своем обращении.

корысть. Место "верн в рай", которая означает лишь "страх перед адом", занимала надежда на земные блага. Они друг друга стоят — и в плохом, и в хорошем смысле. Та надежда дыше и чище, чем наша тяга к благополучию. Человек меньше думал тогда о себе, почти не отпалял себя от соплеменников и от потомков. Благословение "семени" он воспринимал как благословение ему самому. Не всегда можно понять, "кто такой" псалмопевец — отдельный человек или весь народ. Наверное, он часто и не думал об этом.

Но мы ошибемся, если решим, что иудаизм свалился к земным надеждам. Не это в нем особенно, не это отличает его от других древних религий. Как удивительны пути, по которым Господь ведет Своих! Век за веком Он наносил евреям удары, которые кажутся немилосердными. Поражение, плен, оккупация вбивали им в голову, что вера в Бога не гарантирует преуспевания. Такой опыт разрушил бы веру, стоящую на земной надежде. Многие отпали. Удивительно не это: вера выстояла. В лучших своих сынах она становилась все чище, глубже, сильнее. Все больше и больше обращалась, — она к истинному своему центру; о чем я расскажу в следующей главе.

## КРАСОТА ГОСПОДНЯ

Пришла пора поговорить о более веселых вещах. Если слово "веселых" кажется вам неуместным, значит, вы особенно нуждаетесь в том, что псалмы могут дать вам больше любой другой книги.

Мы знаем, что Давид плясал перед Ковчегом. Плясал он так самозабвенно, что одна из его жен /которая была современной, но не лучше его/ решила, что он ставит себя в смешное положение. Давид об этом не думал. Он радовался Господу. Тут мы вспомним, что иудаизм был одной из древних религий. Это значит, что "внешностью" своей он больше походил на язычество, чем на ту скованность, ту осторожность, ту почтительную приглушенность, которая связана у нас со словом "религиозный". В одном смысле это отделяет его от нас. Мы бы не смогли присутствовать при древних обрядах. Все храмы на свете, от прекрасного Парфенона до святого храма Соломонова, были священными бойнями /даже иудеи не могут к этому вернуться, они не строят храма и не возобновляют всесожжений/. Но и тут все не так просто: в храмах пахло кровью, но пахло и жареным мясом. В них было не только страшно, в них было уютно и празднично.

В детстве я думал, что Иерусалимский храм был как бы кафедральным собором, а синагоги — приходскими церквями. Это не так. То, что происходило в синагогах, было совсем непохоже на происходившее в храме. Там собирались, учили, толковали закон, обращались к народу /см. Лк. 4, 90, Деян. 13, 15/. В храме совершали жертвоприношения; именно в нем служили Ягве. Наши церкви — наследники и храма, и синагог; проповедь восходит к синагоге, таинства — к храму. Иудаизм без храма искалечен, неполон; христианским же храмом может стать сарай, палата, комната, поле.

Я больше всего люблю в псалмах именно то, из-за чего плясал Давид. "Это" не так чисто и не так глубоко, как любовь к Богу, которой достигли великие мистики и святые новозаветных времен. Я их не сравниваю; я сравниваю радость



Лавина и приехное "хождение в церковь". При таком сравнении она удивляет и непосредственностью и силой. Читая, мы завидуем ей и надеемся ее заразиться.

Радость эта была сосредоточена в храме. Иногда поэт не различает ту любовь к Богу, которую мы, как это ни опасно, называем бы "духовной", и любовь к храмовым праздникам. Это надо понять правильно. В отличие от греков иудеи не склонны были к анализу и логике /собственно, из древних народов только греки такими и были/. В отличие от нас они не могли разделить тех, кто поклоняется в храме Богу, и тех, кто наслаждается "прекрасной службой", — музыкой, красотой. Ближе всего мы подойдем к их восприятию, если представим себе благочестивого крестьянина, который пришел в церковь на Рождество. Я имею в виду благочестивого, то есть не того, кто, никогда не причащаясь, только на Рождество и ходит, — тот язычник, отдающий дань Невеломому по большим годовым праздникам. Мой крестьянин-христианин. Но он не сможет отделить свои религиозные переживания от той радости, которую дали ему встреча со множеством знакомых, прекрасная музыка, воспоминания о таких же службах в детстве и ожидание праздничного обеда. Все это еще в его душе. Вот это, только еще сильнее, чувствовали древние, особенно — иудеи. Они были крестьянами. Они никогда не слышали о празднестве, музыке, земледелии отдельно от религии, или о религии, отдельно от них. Конечно, это грозило им определенными опасностями, но и давало преимущества, которых у нас нет.

Например, когда псалмист говорит, что видел Господа, это нередко означает, что он побывал в храме. Мы сильно ошибемся, если скажем: "А, он просто видел празднество!..". Лучше сказать: "Если бы мы там были, мы бы увидели празднество". В псалме 67 мы читаем: "Видели шествие Твое, Боже, шествие Бога моего, царя моего, во святии... Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в середине леви с тимпанами". Если бы там был я, я бы увидел музыкантов и девушек с тимпанами; а отдельно, "в другом плане" я бы "ощутил" /или не ощутил/ присутствие Божие. Древний



человек такого разделения не ведал. Точно так же, если бы нынешний человек захотел "созерцать красоту Господню и посещать храм Его", то это были бы разные желания; у псалмопевца же, как я подозреваю, это повторение, параллелизм.

Когда они стали способнее и к абстракции, и к анализу, такое единство распалось. Тогда, и только тогда, обряд мог стать заменой Богу или даже доперником. Когда мы воспримем его отдельно, он может отделиться и жить своей, злокачественной жизнью. Маленький ребенок не отдичает религиозного смысла Пасхи или Рождества от их праздничного обличья. Один очень маленький мальчик сочинил песню, которая начиналась так: "Яйца покрасили, Христос воскрес". На мой взгляд, он проявил и благочестие, и поэтическое чутье. Но мальчик побольше такого не придумает. Он отделил одно от другого и, раз уж отделил, вынужден будет поставить что-то на первое место. Если он поставит "духовное", яйца смогут и впредь вызывать в нем пасхальные чувства. Если же доставит "праздничное", оно очень скоро станет просто праздничным столом. В какой-то период иудаизма, а может быть — только у отделившихся иудеев, произошло нечто похожее. Обряды стали отличать от встречи с Богом. Но это, к сожалению, не значит, что роль их уменьшилась — она могла и увеличиться. Обряд мог стать сделкой с алчным богом, которому на что-то нужны грулы остонов, и он без них милости не окажет. Хуже того: можно сказать, что Богу вообще только обряд и нужен, и потому надо тщательно его выполнять, не обращая внимания на Его призывы к суду, милости и вере. Жрецам обряды станут важны тем, что это — их хлеб и их дело, с которым связан и общественное, и экономическое их положение. Они будут совершенствоваться в этом деле. Конечно, в самом иудаизме есть противоядие. Такое отношение к обряду неустанно обличают пророки, и даже в Псалтири — в сборнике храмовых песен есть псалом 49, в котором Господь говорит, что храмовые службы — не цель, и вспоминает языческие представления о Его любви к жареному мясу: "Если бы я всталкал, то не сказал бы тебе" /12 и далее/. Я представляю иногда, как Он говорит некоторым на-

шим священникам: "Если бы Я захотел послушать музыку, или вникнуть в тонкости западного обряда, то, честное слово, обошелся бы и без тебя".

Опасности эти так известны, что нет нужды о них долго говорить. Я хочу обратить ваше внимание на иное — на ту радость, которой нам не хватает /во всяком случае, мне/. Радость о Боге очень сильна в псалмах, и связана — теснее ли, нет ли — с храмом, сердцем иудаизма. Псалмопевцам по сравнению с нами было почти не за что любить Бога. Они не знали, что Он предлагает им вечное блаженство; не знали, что Он умрет, чтобы это блаженство для них отвоевать. Но — они так любят Его, так к Нему тянутся, как любят Его и тянутся к Нему только лучшие из христиан или, может быть, только христиане в лучшие свои минуты. Их тяга к "красоте Господней" сильна, как физическая жажда. Без Него их души иссыхают, как земля без воды. Прочитайте об этом в 25 псалме, в 49, в 62, в 64, в 83 и во многих других.

Я называл бы это именно жаждой, или алканьем, а не "любовью". Слова "любовь к Богу" сразу вызывают в памяти слово "духовный" со всеми теми значениями, которыми оно, к несчастью, обросло. В древних стихотворениях было меньше важности и меньше смирения /я бы даже сказал: "меньше удивления"/, чем в нас. Чувство, о котором я толкую, было веселым и простым, как естественное, даже физическое желание. Они радуются и торжествуют. Они славят Бога на гуслях, на псалтири и гуслях, они "радостно поют Богу", и берут для этого псалом, тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирью. Но музыки им мало, им нужен шум. Им надо, чтобы восплескали руками все народы, чтобы кимвалы были звучными и громогласными, чтобы веселились многочисленные острова — места чужие и всегда далекие для иудеев, не знавших мореплавания.

Я не предлагаю вам возродить эту бурную жажду. Во-первых, ее возродить и невозможно, потому что она не умирает; только искать ее надо не у нас, англикан, а у католиков, православных, Армии Спасения. Мы слишком привержены хорошему вкусу. Однако бывает она и у нас, у некоторых,

иногда. Но главная причина не в том: иудеи не знали, а христиане знают, как "дорога цена искупления души их". Христианская жизнь начинается смертью — мы крестимся в смерть Христову; наш праздник невозможен без лопимого тела и изливаемой крови. В нашем богослужении есть трагическая глубина, которой у иудеев не было. Наша радость должна быть такой, чтобы ей не противоречить. Но все это не умаляет нашего долга псалмам / во всяком случае, когда я их читаю, я чувствую себя в долгу/. Мы находим там религиозный опыт, ставящий в центр Бога; видим, как человек продит у Бога только Его Самого, только Его присутствия, радостного и ошутимого до предела.

Но радость эта шла и по другому руслу. Об этом мы сейчас поговорим.

В трагедии Расина "Гофолия" хор певушек поет о том, как Господь дал заповеди Моисею; припев там удивительный: "*O charme de loi* !" /Акт I, явл. IV/. Конечно, никак нельзя перевести это буквально, выйдет в лучшем случае глупость. Для нас "очаровательный" — слово и жеманное, и холодно-ватое, и покровительственное; мы скажем так о книге, которую не назовешь хорошей, или о женщине, которую не назовешь красивой. Не знаю, как перевести строку — "прекрасный"? "дивный"? Все не то. Но важно иное: именно тут Расин /который и писать умел, и Библию знал/ подхопит ближе всех европейских писателей к очень характерному для псалмов чувству. Чувство это, когда я его заметил, меня сильно удивило.

"Они возжеленнее золота и даже многого золота чистого, слаще меда и каплей сота". Вы думаете, это милости Господни, или откровения, или "свойства"? Нет; псалмопевец говорит о законе, о Божьих повелениях, о нравственных правилах.

Я очень удивился. Приказы "не укради", "не прелюбодействуй" можно почитать, можно им следовать, но как можно им наслаждаться? Это нелегко, особенно — тогда, когда заповедь противостоит сильному и, в сущности, оправданному желанию: мужа, прикованный несчастным браком к истинной вельме, и прелюбодействующий хорошую женщину; голодный, оказавшийся один и без денег в лавке, где пахнет хлебом или кофе, вряд ли сравнит эти заповеди с медом. Они могут им подчиниться, но уподобят их скорее зубному врачу или окопу на передовой.

Один серьезный ученый и честный христианин объяснил мне это так: они радовались, что подчинились закону, что совесть у них чиста. Мне жалко с ним спорить, да и в ответе его немало правды. Чистой совести они радовались; но псалом говорит не об этом.

В I псалме сказано о "блаженном муже": "Но в законе

Его воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь". "Размышляет", а не "ископывает" или "повинуется". Конечно, речь идет не только о десяти заповедях, но обо всем сложном "законе", который содержится в книгах Левит, Числа и Второзакония. Блаженный муж делает именно то, о чем говорит Диего, сын Сирахов: "Размышляй о повелениях Господа и всегда поучайся в заповедях Его". Это значит, кроме всего прочего, что закон изучали, он был, как мы сказали бы, "предметом". Его толковали учителя, его зубрили ученики. В этом смысле им можно было "наслаждаться" так, как у нас "любят" историю, физику или археологию. Такая любовь вполне невинна, если к ней не примешиваются радости самодовольства и презрения к неученым или более грубые радости карьеризма.

Опасность умножается во много раз, когда сам "предмет" священен: к крохоборству, тщеславию и спеси прибавляется гордыня. Иногда /не всегда/ я рад, что я — не слишком хороший богослов; уж очень легко тогда счесть себя хорошим христианином. По сравнению с этим просто смешны искушения химика или физика. Когда наука священна, гордый и умный человек может подумать, в конце концов, что "внешние" не только необразованней, чем он, но и ниже в глазах Господних — "этот народ невежда в законе, проклят он". Гордыня растет, "наука", дающая такие преимущества, усложняется, запретов все больше; наконец, прожить день, не нарушив какой-нибудь заповеди, становится так же трудно, как станцевать сложный танец, а это, в свою очередь, приумножает самодовольство одних и запуганность других. Тем временем "важное в законе", праведность, отходит на самый дальний план; законники оцепивают комара, поглощая верблюда.

Тогда закон, как и обряд, становится злокачественным. Он живет уже сам по себе, губя то, ради чего он создан. Чарльз Уильямс сказал: "Когда средства автономны, они ужасны". Такое перерождение — одна из причин той радости, с которой апостол говорит об избавлении от закона. Оно же вызвало суровые слова Спасителя; именно в нем — и грех, и кара книжников и фарисеев. Но сейчас я хочу подчеркнуть

другое. Я хочу снова показать ту тобопетель, которая может переродиться в такой парок.

Всякий знает, что особо посвящен закону 118 псалом, самый длинный из всех. Всякий заметил, наверное, что он еще и самый искусный. Автор берет слова, которые в этом контексте синонимичны /откровения, пути, повеления, уставы, заповеди, суды, закон/ и играет синонимами в каждом из восьмистиший, соответствующих одной букве алфавита. Тем самым, это не крик души, вроде псалма 16, а плетение словес, тонкое шитье, кропотливая и долгая работа.

Это очень важно, потому что вводит нас в настроение, в состояние псалмопевца. Можно сказать, что он чувствовал к закону то же, что к своему искусству: и то, и другое предполагает точное и благоговейное словесное изображение некоему узору. Отсюда есть путь к фарисейству, но само по себе это вполне невинно. Тем, кто таких вещей не любит, это покажется нудным или натушным, но они ошибутся. Автор просто наслаждается ладом, строем, порядком — как тот, кто танцует менует. Конечно, он знает, что речь идет о несравненно большем, чем танец или стихи. Кроме того, он знает, что ему не дается этот лад: "О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих!". Но старается он не из рабского страха. Лад Господня ума, воплощенный в законе, прекрасен. Что же делать человеку, как не воспроизводить его, по мере своих сил? На пути откровений он радуется, как во всяком богатстве, уставами утешается, они — его песни, они лучше меда, лучше золота и серебра, чем шире открыты его глаза, тем яснее он видит чудеса закона. Это речь не педанта, а поэта, потрясенного нравственной красотой. Если мы его не понимаем, хуже нам, не ему.

Но это не все. В трех стихах псалмопевец говорит, что закон "истинен" или "истина". В стихе 7 псалма 110 тоже говорится, что "все заповеди Его верны". Современный человек логично рассудит, что заповедь — это повеление, а называть повеление "истинным" бессмысленно. Фраза "Дверь закрыта" может быть истинной или ложной, фраза "Закрой дверь" — не может. Но я понимаю, что хотели сказать псалмопевцы.



Они хотели сказать, что закон дает истинные, прочные, твердые правила жизни. Закон отвечает на вопрос: "Как можно содержать в чистоте путь свой?"; он — светильник, свет. Вокруг, у язычников, были другие правила. Псалмопевец верит, что хорош и прочен его закон, а не они; что закон этот стоит на самой природе вещей и природе Бога.

Тем самым он решает спор, возникший много позже. В XVIII веке были ужасные богословы, утверждающие, что Бог повелевал то или иное не потому, что это хорошо, а потому, что воля Божия определяет, чему быть плохим, чему — хорошим. Для ясности один из них сказал, что Бог мог повелевать нам не любить, а ненавидеть друг друга, и ненависть была бы тогда благом, добродетелью. Лучше и благочестивей вообще не верить в Бога и жить без этики, чем иметь такую этику и теологию. Конечно, иудеи не обсуждали этого в абстрактных, философских понятиях. Но они дали правильный ответ. Они знали, что праведен Бог, а не только страх Божий. Сам Господь "любит правду", потому что и она, и Он — благи. Тем самым, законам его присуща некая "истинность", "змет", и они крепки, как созданная Им природа. Псалмопевец говорит об этом лучше меня. "Годподи! милость Твоя по небес, истина Твоя по облаков. Правда Твоя, как горы Божии". Иудеи радуется закону, как радуется тот, кто наступил твердое дно, или тот, кто вышел из топи на ровную дорогу. Ведь были и другие пороги, лишённые "истины". Рядом с иудеями жили народы, близкие к ним по крови, исповедовавшие самое гнусное язычество, в котором не было ни красоты греческих мифов, ни мудрости греческой философии. На этом фоне красота закона особенно выделялась; и этому не мешало, а даже помогало то, что иудеи иногда впадали в такое язычество. Страшные обряды были им соблазном в страшные времена — например, когда напали ассирийцы. Мы, не так давно окрестившие со дня на день, что страну нашу захватит привычный к жестокости враг, должны их понять. Когда им казалось, что Господь оглох, им хотелось прибегнуть к помощи хитрых богов, которые требовали намного больше и, может быть, больше павали. Но если иудеи глядели на те обря-

ли в лучший час, или сам был лучше, если он вспоминал о храмовой проституции и о сожжении детей, его Закон сиял ослепительным светом, он был слаще меда. Если эта метафора нам не по вкусу /мы не так любим сладкое, как древние, потому что у нас вдоволь сахара/, сравним закон со свежей водой, со свежим воздухом после душной комнаты, с ясным утром после страшного сна. Но и тут псалмопевец оказался гораздо лучше: "Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце; Заповедь Господня света, просвещает очи. Суды Господни истина, все праведны" — и дальше снова про золото и мед.

Я считаю 18 псалом величайшим из всех псалмов и одним из величайших лирических стихотворений вообще. Вспомните, как он составлен: десять стихов о природе, пять — о Законе, три — молитва. Между первыми и вторыми логической связи нет, и в этом смысле он напоминает строением современные стихи. Совершенный поэт предоставляет нам догадываться, что с чем связано; но сам он это знает, и мог бы объяснить. Я не думаю, чтобы древний поэт это знал. Мне кажется, что он, об этом не думая, просто чувствовал связь, более того — единство первой и второй тем, и даже не замечал перехода. Вот он помыслил о небе — и сказал о деде. Вот о солнце, о радости его восхода, о быстроте его движения, о его "теплоте" — не о мягком тепле наших широт, но об испепеляющей жаре, от которой "ничто не укроется". И вдруг, в стихах 8, он говорит о другом, но вряд ли ощущает переход, ведь закон так похож на всепроникающий, всевидящий солнечный свет. Он просвещает очи, он вечен и чист, он сладостен. Так воспринимали они Закон: он был для них светлым, суровым, радостным, очищающим. Стоит ли прибавлять, что у этого псалмопевца нет ни капли самоповольствия, и третью часть псалма он посвящает своим "погрешностям". Как солнце выискивало его в любой расщелине, куда он прятался от зноя, так и Закон выискивает все его тайные грехи.

Если радость о Законе возникла из сопоставления его с язычеством, нам не так уж трудно ее понять. Остров христи-

андства все меньше и все четче; прибой других правил жизни подмывает берег. Правила эти еще не так гнусны и жестоки, как некоторые семитические религии, но человек в них очень мало значит, а жестокости в них немало. Некоторые из них совершенно иначе понимают "нравственность", некоторые ее отрицают. Быть может, скоро нам придется оценить свежий воздух христианской этики, но и тут нас ждет опасность. О ней я подумал, читая все те же псалмы, и сейчас о ней поговорю.

## УП

### ПОТВОРСТВО

Всякий, кто внимательно читал псалмы, заметит, что они сурово осуждают не только самый грех, но и нечто другое. В 25 псалме, праведник и сам "ходил в нецелочности", и "не сидел с людьми лживыми /.../, возненавидел сборище вдоумеренных". В 30-м он "ненавидит почитателей суетных идолов" /.../. В 49-м уже Бог укоряет человека, который, "когда видит вора, сходится с ним, и с прелюбодеями сообщается". И почти смешно, когда псалмопевец взывает в 138-м псалме: "Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнущаться восстающими на Тебя?"

Если человек решается ненавидеть тех, кого он считает Божьими врагами; если он избегает тех, кого считает плохими, судит ближних, думая, что он для них "слишком хорош" — опасность почти гибельна. Он на прямом пути к тому фарисейству, которое обличал Спаситель; не только к гордыне, но и к глупости тех, кого мы зовем святошами. Говорю это сразу. Но не будем фарисеями даже к фарисеям. Глупо считать такие строки, не понимая, что за ними стоит реальная проблема. Сам я не знаю, как ее решить.

Мы часто слышим, что такой-то — подлец, такой-то — лгуни, такой-то — деспот, кто-то кого-то гнусно обманул, кто-то обидел женщину, какая-то знаменитость ведет мерзкую и лицемерную жизнь. Но теперь принято обращаться с ними, как ни в чем не бывало, приветливо, даже сердечно.

Я сказал, что это проблема; на самом деле их две. Одна — социальная: правильно ли, что поглотить никак не наказывается, хотя бы не отделяется? Не лучше ли обращаться с некоторыми людьми, как обращались с палачом? Они бы знали, что их не примут в клуб, не позовут в гости, а если они посмеют заговорить с женщиной, она их может упарить. Правильно ли, что у нас нет ничего, кроме беспомощного соглашательства и карательных мер? Нет протеста, нет умеренного, дак бы частного мятежа? Хорошо ли, что можно сочетать радости развратника или тирана с радостями честного человека,

легко и свободно живущего среди равных? На этот вопрос я ответа не знаю. Если все станет иначе, опасности огромны; они не меньше, если останется по-прежнему.

Но сейчас, здесь, я говорю о частной жизни. Как нам себя вести с очень плохими людьми? Уточню: с очень плохими людьми, у которых есть власть, богатство и апломб. Если это изгой и неупащник, если их должность не окупилась, тогда каждый христианин знает, что делать. Пример дан — Христос с самаритянкой, Христос с взяточником в прелюбодеянии, Христос с мытарями и грешниками. Конечно, я имел в виду Его смирение, Его любовь и жалость, Его безразличие к презрению, к пересудам. Но если вы или я не уполномочены самим, дружбой или просьбой, мы, в отличие от Него, не вправе ни обличать, ни отпускать грехи. Будьте очень осторожны, страсть к покровительству и к чужим делам очень часто прикрывается милосердием. Однако и это не все.

Можно не сомневаться, что не один Христос ел с мытарями; но у этих других и причины были другие. Мытарей мы назвали бы сейчас самыми жалкими из коллаборационистов. Они были изгоями, вроде пахача; не многие из них богатели и почти все они, если не все, пользовались презрительным покровительством римлян. Нетрудно предположить, что некоторые поддерживали с ними отношения, чтобы "допользоваться" или чтобы залобить их на всякий случай. Среди их гостей, кроме Христа, были и лизоблюды, и люди, похожие на одного моего знакомого.

Когда он учился в Оксфорде, он был социалистом. Потом он преподавал где-то в провинции и пришел ко мне лет через десять. Взгляды его изменились. Он понял, что государство не должно ни во что вмешиваться. Эти неучи и поллецы из Министерства Просвещения вконец извели его, честного учителя, который знает учеников, знает свое дело, знает местные условия. Сейчас не важно, прав он был или нет; важно, что он так думал. И он пришел ко мне попросить, чтобы я устроил его в Министерство.

Если бы я познакомил его с каким-нибудь чиновником, он, я уверен, был бы с ним более чем вежлив, и тот, кто

слышал его обличения, мог бы понимать, что он, как истинный христианин, любит грешника, ненавидя грех.

Конечно, это крайний, почти фарсовый случай. Но бывают случаи потоньше, сложнее. Многие мечтают познакомиться со знаменитостью, даже если ругают ее за глаза. Все ж приятно, когда тебя окликнет известный человек, особенно если ты идешь с родственником из провинции. Не знаю, очень ли греховны эти мечты. Но думаю, что христианин должен всячески избегать грубых, жестоких, циничных, надменных людей.

И не потому, что он для них слишком хорош, а потому, что он слишком плох. Мы недостаточно хороши, чтобы справиться с соблазнами и проблемами, которые нас дожидают. Соблазн в том, чтобы подлакнуть, подпержать, оболгать словами, смехом или взглядом. Он особенно велик теперь, когда мы не без оснований так боимся ханжества. Если же не избегать этих соблазнов, мы вечно будем попадать в них, нас туда просто затянет. Мы будем слушать, как полность выдают за юмор, рассказывая даже не похожие истории, а такие, которых не расскажешь, не злоупотребив доверием. При нас будут выдавать лжи, прикрываясь состраанием или остроумием. Будут все высмеивать, будут защищать жестокость, принимая без показательства, что все прочее сантименты. От малейшей веры в какую-то другую жизнь — в бескорыстие, в жертвенность, в благородство — будут просто отмахиваться, так что даже нельзя будет серьезно об этом поспорить.

Что же нам делать? Если мы никак не протестуем, мы играем им на руку. Они еще раз убедятся, что "эти христиане" думают на самом деле так же, как они. Мы предаем Христа, когда все это терпим, словно "не знаем этого человека". Но что же тогда? То и дело прерывать разговор, крича "Я против! "? Встать и уйти? Это тоже подтвердит худшее мнение о христианах — мы окажемся именно теми ханжами и невежами, какими нас считают.

Хорошо молчать. Особенно это хорошо, потому что Уполномоченный от этого мало, а прямой протест может оставить особое наслаждение. Но и протестовать можно, только не



властно, а в нормальном споре. Дерзко нас полтержит самый неожиданный человек, потом другой, пока не окажется, что почти все думали, как мы. Конечно, "те" могут переспорить, но я понял, что это не так уж важно. Иногда через много лет самый заядлый ваш противник вдруг переменит мнение, и окажется, что повлияли на него ваши слова...

Но бывает зло такой степени, когда надо дозреть, что бы из этого ни вышло. Бывает такой беспардонный цинизм, такая жестокость, что мы обязаны протестовать. Если при этом нельзя не показаться ханжой, что ж, покажемся ханжами.

Ведь важно другое: ханжа ли ты на самом деле. Если вам тяжело возражать, трудно вмешиваться, значит, эта опасность вас миновала. Если вам нравится обличать — тогда это опасно. Что же по чужого мнения, есть сообщества, в которых ханжой сочтут всякого приличного человека, а тому, кого не сочтут, стоит призадуматься. Чистоплюйство — грех, и чванство — грех, но в некоторых кругах только полный бесстыдник избежит этих обвинений.

Особенно трудно общаться со "злонамеренными", потому что тут нужны не только добрая воля, смирение и смелость, но и ум, и умение себя вести, которые Бог дает не всегда. Поэтому "не сметь" с ними делит нам не святость, а здравый смысл. Слова "не введи нас во искушение" значат, среди прочего: "не попусти лестных приглашений, блестящих знакомств, причастности к элите, хотя мне очень этого хочется!"

К предостережениям против потворства близки слова псалмопевцев о других грехах, в которых повинен язык. Сперва меня это упивляло: я думал, что в то простое, грубое время зло творили мечом, огнем, глубиной. Однако в псалмах то и дело сатуют на более тонкое зло: "Ибо нет в устах их истины /.../, гортань их — открытый гроб, языком своим льстят". "Ложь говорит каждый своему ближнему, уста льстят, говорят от сердца притворного". "Слова уст его — неправда и лукавство". "И если прихочит кто выпеть меня, говорит ложь /.../ и вышедши вон толкует /.../. Все ненавидящие

меня шепчут между собой". "Гибель замышляет язык твой, — как изощренная бритва он, коварный". "Уста их мягче масла, а в сердце вражда; слова их нежнее елса, но они обнаженные мечи". "Всякий день поносят меня враги мои". Так и слышим шущуканье, брызжанье, пересуны, лести и сплетни. Тут не надо никаких научных подтверждений, мы все это знаем, мы даже слышим в злобном и вкрадчивом хоре знакомые голоса. Один из них настолько знаем, что нам его не узнать.

## УШ

### ПРИРОДА

...Отношение псалмопевцев к природе определяют два фактора. Первый есть у всех древних авторов; второй был в их время прелепно репок.

1. Псалмопевцы принадлежат к крестьянскому народу. Для нас само слово "еврей" связано с деньгами, торговлей, ростовщичеством. Но это восходит лишь к Средним векам, когда евреи не имели права владеть землей. Какие бы черты ни выработали в евреях века таких занятий, у их ветхозаветных предков черт этих не было. Они возделывали землю. Даже царь, отнимающий виноградник у своего попавшего, больше похож на злого помещика, чем на царя. Все было связано с землей; каждый чувствовал свою прямую зависимость от почвы и погоды. Точно также жили очень много и греки, и римляне. Тем самым, тогда не могло быть "любви к природе", — чувства горожанина, выбравшегося за город. Когда городов мало и сами они малы, люди не сознают, что есть некая "сельская жизнь". "Природа" — это, просто мир, как вода для рыб. Конечно, любоваться природой они могут, но в это естественно входит польза. Гомер любит пейзаж, но описывает он хорошую землю, обильные волны, тучное пастбище, крепкий лес. Поскольку, в отличие от евреев, он — из народа мореплавателей, упоминает он и удобную гавань. Псалмопевцы, поэты лирические, не описывают пейзажей. Зато они несравненно передают ощущение погоды; они видят ее, как видит крестьянин, и наслаждаются ею, как, наверное, наслаждаются растения. "Ты посещаешь землю, и утоляешь, каждую ее, сильно обогащаешь ее. /.../ Наполняешь бородами ее, и уравниваешь глубины ее, размягчаешь ее каплями росы, благословляешь произрастания ее /.../ и холмы препоясываются радостью, луга опеваются сталами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют". А в псалме 103 прямо сказано: "насыщаются прева Господа".

2. Все мы знаем, что верили евреи в единого Бога, сотворившего небо и землю. Природа и Бог были для них отделе-

ны друг от друга: Он ее создал; Он повелевал, она повиновалась. Это мы знаем. Но не всегда понимаем, что это, в сущности, значит.

Во-первых, для нас это прописная истина. Мы принимаем ее, как должное. Наверное, многие из нас думают, что во всех религиях есть четкая доктрина творения, и каждая может ответить на вопрос: "Кто создал мир?" На самом деле доктрина эта исключительна, если не единственна; когда же что-то отдаленно ей подобное встречается у язычников, оно не имеет религиозного значения, во всяком случае, — религия стоит не на нем. Оно там, где религия переходит во что-то вроде сказки. В одном египетском мифе бог Атон, по-видимому, — гермафродит, вышел из волн, зачал и сам родил еще двух богов, и тогда уж "все началось". В другом — целое скопище богов вышло из богини Нун. По вавилонскому мифу, до сотворения земли и неба существо по имени Ансу и жена его Тиамат произвели Лахму и Лахаму, а те, в свою очередь, — Аншар и Кишар, которые были больше своих родителей, так что получается что-то вроде эволюции. В скандинавском мифе в начале есть огонь и лед, юг и север, и среди всего этого возникает великан, который вынашивает полумиской сына и дочь. Когда начинается греческая мифология, уже есть и небо, и земля.

Я пишу об этом не для того, чтобы посмеяться над топорностью мифов. Смеяться тут не над чем. Все говорят о таких вещах топорно, даже ребенок и мистик. Я хочу показать, что нигде здесь нет и намека на сотворение мира. Что-то возникает из чего-то, и все. Даже если бы это было правдой, повествовала бы она об очень ранних событиях, но не о начале. Когда поднимается занавес, пьеса уже идет. Вы скажете, эти мифы отвечают на вопрос: "Как она началась?" Отвечают, но в каком смысле? Когда опоздавший зритель обратится к вам, вы можете ему сказать: "Сперва были три великана, потом старый король разговаривал с раненым солдатом..." Но он мог иметь в виду другое: "Откуда эта пьеса взялась? Может быть, актеры импровизируют? Или кто-то есть еще, не на сцене, и он ее выдумал?"

Конечно, Платон отвечает на этот вопрос; но он стоит особняком, он — религиозный гений /хотя помог ему, несомненно, Просвещающий всех/.

Нетрудно понять, как важна в религиозном смысле такая особенность мутайской доктрины. Но мы не всегда понимаем, как важна она для нашего мироощущения и восприятия.

Бог сотворил природу, значит — они и связаны, и отчуждены друг от друга. С одной стороны, природа менее божественна, чем для пантеиста. Теперь мы не чувствуем, как трудно к этому прийти и этому следовать. Наверно, нам поможет отрывок из книги Иова: "Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как она величественно шествует, прельстился ли я тайне сердца моего, и целовали ли уста мои руку мою? Это также было бы преступлением /.../, потому что я отрекся бы от Бога всевышнего". Речь идет не о страшных богах-демонах; отплатить папье поклонения луне или солнцу очень естественно, вполне невинно. Должно быть, иногда так и бывало, и творец небесных светил принимал это как должное. Однако автор Книги Иова ощущает это как преступление, для него это — соблазн; и ни один европеец уже тысячу с лишним лет такого соблазна не знает.

С другой стороны, природа более божественна; она символ, знак, проявление Бога. Вспомним два отрывка, которые я уже цитировал. В 18 псалме всеблгодящее и всеочищающее солнце — образ всеблгодящего и всеочищающего закона. В 35 псалме говорится так: "Господи! Милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков! Правда Твоя — как горы Божии, и судьбы Твои — бездна великая!" Именно потому, что горы, облака и бездны — не боги, они могут стать Его образами. Что даст, если сравнить Аполлона с солнцем или Нептуна с морской бездной? Но сравнение закона с солнцем, судеб с бездной дает очень много.

Природа полна таких образов, все в ней связано с Богом. Свет — одежда Божия, небеса — Его шатер, гром — Его голос, мрак — покров, горы дымятся, когда Он к ним прикасается. Казалось бы, все это очень близко к язычеству. Тор и Зевс говорили голосом грома, Гермес и Изида были

посланцами богов. Но совсем не одно и то же, слышим мы в громе голос Бога или голос бога. У богов есть начало. У многих из них есть родители, и мы прекрасно знаем, где они сами родились. Бытие пано им, как нам. Они, как и мы, — твари, создания, только сильнее нас и красивей. Они — актеры, а не авторы космического действия. Платон это понимал. Бог у него создает богов и хранит от смерти; бессмертия не присуще им, а тоже пано. "Боги" не множественное от "Бог"; кто-то сказал, что у слова Бог нет множественного числа. Тем самым, голос бога, в сущности говоря, не потусторонен. Если вы примете бога за посланца, то есть за ангела, вы поймете пальше. Природа лишится богов, но исполнится Бога, ибо станет Его вестницей.

Но вера в сотворение мира дает не только это: благодаря ей мы можем воспринимать природу не как данность, а как достижение. Иногда псалмопевцы радуются самой ее прочности. Господь придал своим творениям присущую Ему "змет" — они крепки, устойчивы, на них можно положиться, "...все дела Его верны". Он "поставил горы силою Бвоею", "поставил землю на твердых основах". Посмотрите, как в 135 псалме поэт переходит от сотворения природы к освобождению Израиля из Египта: и то, и другое — хорошая работа, великая победа.

Такое восприятие приводит к поистине удивительным вещам. Мы уже говорили, что евреи, как почти все древние, были крестьянами, и видели природу глазами садовника или фермера. Их радовала трава для скота, зелень на пользу человека /.../, вино, которое веселит сердце... и алей, от которого блистает лицо; именно такое лицо сравнивал Гомер с очищенной луковкой. Но этим евреи не ограничивались. Они благодарили Бога и за то, что человеку польза на приносит. В прекрасном псалме, посвященном именно природе, мы читаем не только о скоте, зелени, вине или хлебе. Тут и "ликие ослы утоляют жажлу", и "ели — жилище аисту", а "каменные утесы — убежища зайцам"; по-видимому, это не зайцы, а особые животные, вроде сурка и даже львы, более того — киты, которые играют в море.



Конечно, это совсем не похоже на нашу "любовь к животным". Нам нетрудно любить животных, нам не приходилось голодным и усталым работать вместе с ними, а опасных зверей у нас павно нет. Упаси вас Господи подумать, что я пренебрежительно отзываюсь о любви к животным. Я просто хочу сказать, что для тех, кто знает только комнатных животных, это не такая уж ценная добродетель. Очень плохо, если такой любви у вас нет, но если она есть, хвалить себя не за что. Хвалить надо не нас, а измученного пастуха или возчика, который все равно ее не утратил. То, что испытывали евреи, поражает и силой, и беспристрастием. В скандинавских мифах чудища враждебны не только людям, но и богам. В мифах античных боги посылают их, чтобы наказывать или истреблять неугольных. Нигде нет такого ясного и объективного взгляда: вот лев и кит, вот — человек. Мне кажется, это происходит от того, что иудеи знали Бога, сотворившего и держащего всякую тварь. Про львов говорится, что они "просят у Бога пищу себе", и все существа, как мы, люди, "оживают", чтобы Бог "дал им пищу их в свое время". Потому они и нравятся псалмопевцу: все мы, и львы, и аист, и ворон, и кит — на Божьем повольствии, и упоминание о каждом из нас умножает Ему хвалу.

Моя догадку подтверждает интересное свидетельство. Я сказал, что у язычников нет такого восприятия природы; на самом же деле — в одной очень древней поэме оно есть. Она вообще очень похожа на 103 псалом. Но в том-то и суть, что автор ее — не политеист. Он восхваляет ~~и~~ не богов, а единого Бога, сотворившего все сущее. Тем самым это — не исключение. Языческая словесность превосхитила мировоззрение словесности иудейской, но лишь в том случае, когда и богословие превосхитило, в определенном смысле, богословие Ветхозаветное. Другого мы и ждать не могли.

Речь идет о египетском "Гимне солнцу" /XIV в. до Р.Х./ Создал его Аменхотеп IV, называвший себя Эхнатомом. Многие читатели знают о нем. Он совершил религиозный переворот, порвал с политеизмом отцов и всеми силами пытался привить Египту монотеизм. Наверное, жрецам он казался чем-

то вроде нашего Генриха VIII, разорившего монастыри. Монотеизм его был чист и высок. Он даже не считал богом само солнце, оно было лишь образом, проявлением Бога. Это — поразительное прозрение, быть может, более поразительное, чем у Платона, и не менее противопоставленное обычному язычеству. Но ничего из этого не вышло. Религия Эхнатона умерла вместе с ним.

А может быть, из этого вышел иудаизм. Нет ничего невероятного в том, что иудеи Эхнатона вошли в египетскую "прямую", которой учился Моисей. И ничего плохого в этом нет. Все, что было в этих иудеях истинного, исходит, как всякая истина, от Бога. Господь мог использовать и это оружие, являя себя Моисею. Но никаких свидетельств об этом нет. Да мы и не знаем, достоин ли Эхнатон стать таким оружием. Мы не знаем, каким он был. Для одного ученого он — "первая личность в истории", для другого — безумец, маньяк, а, может быть, и слабоумный. Даже если он был возлюблен и благословен Богом, иудеи его такими не были. Хорошо ли, плохо ли это семя, упало оно на каменистые места. А может, оно и впрямь плохо. Нам, нынешним людям, кажется, что такой чистый и строгий монотеизм лучше тех начатков иудейской веры, где Ягве предстает чуть ли не богом огня. Но мы, наверное, не правы. Если мы призваны узнать не Бога философов и ученых, а конкретного Бога — куда конкретнее нас! — которого можно любить, бояться, призывать, лучше начать смиренней, ближе к тому, со святыни, с праздника, с драгоценной памяти о Божьих судах, обещаниях, милостях. Быть может, в такую раннюю пору вера в Бога, далекого, безличного и безразличного, как солнечный диск, не принесет плодов. Если нам надо прийти к яслям Вифлеема, холму Голгофы и пустой могиле, лучше начать с обрезания, пути через пустыню, ковчега и храма. "Вышнее не стоит без низшего", не стоит, упадет или взлетит и затеряется в бесконечности. Тесные врата не только узки, но и низки. Надо наклониться и стать, как дети, чтобы в них войти.

Поэтому не будем опрометчиво решать, что монотеизм Эхнатона был прообразом иудаизма и если бы только жрецы и

народ его приняли, Господь являл бы себя через египетских пророков. Но сейчас нам важно другое: что ни говори, общее в этих религиях есть, и потому в гимне Эхнатона есть общее с псалмами. Как и автор 138 псалма, фараон славит Бога за то, что Он создавал зародки во чреве матери, "был нянькой нашей в утробе". Он славит Бога и за то, что Он учит цыпленка, как разбить скорлупу и вылупиться из яйца. Но есть и разница — львы для него не наши собраты в Боге. Он пишет о них иначе, примерно так: "когда ты скроешься, мир во тьме, как бы мертвый. Выходят львы, и жалеют всех аспидов". В едином ряду со смертью и змеями, львы эти — наши враги. Так и кажется, что сама ночь — врагиня, неподвластная Богу, это близко к куализму. Да, разница есть, но есть и сходство, а сейчас нам важно именно оно. У Эхнатона, как у псалмопевцев, определенное мировосприятие, выраженное в поэзии, обусловлено определенным представлением о Боге. Но во всю свою силу и то, и другое развилось у мудрецов.

/Можем ли мы расстаться с этой темой, не помолвившись о том, чтобы древний царь, какими бы безумным и оперженным он ни был, давнѐ уже радовался истине, которую так несовершеннѐ предвидел?/

Быть может /я очень на это надеюсь/, сейчас я напишуданужную главу. Те, кто не так туп, чтобы попасть в затруднение, которое она должна распутать, найдут ее смешной. — Это хорошо, отдохнуть и посмеяться полезно, как бы серьезен ни был предмет. Я знаю по опыту, что самое смешное говорят в очень важных и очень искренних разговорах.

Когда я подходил к вере в Бога и даже когда поверил, мне мешало, что нас вечно просят "славить" Его и "хвалить". — Особенно я удивлялся, что вроде бы и Сам Он это любит. Кому понравится человек, которому надо все время повторять, что он хороший, умный и красивый? Еще противней те, кто — это и повторяет миллионеру, актеру или диктатору. Эта гуррацкая и жутковатая картина неотступно стояла передо мной. В псалмах было уж ни с чем не сравнимо, особенно в последних: "Хвали, душа моя, Господа. Буду восхвалять Господа, доколе жив; буду петь Богу моему, доколе есмь", "Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно — хвала полюбавшая", "Хвали, Иерусалим, Господа; хвали, Сион, Бога твоего". В 148 "Хвалите Господа" — 8 раз, в 150 — 11. /И почему они не просто хвалят, а призывают к этому других, да еще не одних людей, а каких-то великих рыб, снег и град, которые, по-видимому, и без того делают, что им положено?/ Еще хуже были слова, приписываемые автором Богу: "Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня". А хуже всего — исключительно глупая и языческая торговля, напоминавшая мне, как дикарь то уболачивает идола, то бьет — псалмодевец как будто хочет сказать: "Ну ладно, Любишь хвалу — сделай мне то-то и то-то, и хвала Тебе будет!" В псалме 53, он просит спасти его от врагов, а потом заверяет: "Я усердно принесу Тебе жертву, прослаблю имя Твое". Снова и снова он просит Его спасти на том странном основании, что мертвые не могут возносить хвалу /псалмы 29, 87, 118/. Важно даже, сколько раз он хвалит. Это меня очень удручало. Поневоле думаешь, что, чего думать не хочется. Благодарность Богу я понимал,

поклонение Ему, послушание, но не эту же непрерывную хесть! Меня не утешил современный богослов, объяснивший мне, что Бог "имеет на нее право".

Я и сейчас считаю, что выразился он неудачно, но, кажется, я понял, что он имел в виду. Начнем с предметов неодушевленных. Что мы хотим сказать, когда говорим "картина заслуживает восхищения"? Не то, что ею восхищаются сотнями плохих картин восхищается масса народу. Не то, что она заслужила восхищение, — работала, старалась и заслужила. Мы хотим сказать, что восхищение — правильная, адекватная реакция на нее, — и если мы так не реагируем, мы глупы и слепы, более того — нам же хуже, мы много теряем. То же самое можно сказать и о красотах природы. Отсюда я и шел, хотя некоторые сочтут это кощунством, пока не понял того, что нужно. Хвалить /или, если хотите, ценить/ Бога — значит, бодрствовать, войти в мир яви; не-ценить Его — лишиться великой радости, а в конце концов — и всего вообще. Убожеская, и-убогая жизнь тех, кто не воспринимает музыки, или никогда не был влюблен, или ни с кем не дружил, или не любит читать, или не радуется утренней прохладе, или, как я, не интересуется спортом, — более чем слабые подобия такого состояния.

Но это не все. Бог не только "заслуживает восхищения и хвалы", Он велит нам хвалить Его. Я этого не понимал, пока не понял того, о чем пишу в У главе: когда мы служим Богу, Он открывается нам. Не все, и не всегда, но очень многие "красоту Господню" видят в храме. Даже иудаизм есть жертвоприношения была не в том, что люди павали Богу тельцов и агнцев, но в том, что Сам Он павал Себя людям, — когда они это делали; в нашей же литургии это гораздо явственнее, просто физически ощутимо. Жалкую мысль о том, что Богу в каком-то смысле нужно наше поклонение, как суетной женщине нужны комплименты или тщеславному писателю — рецензии, опровергают слова: "Если бы Я взялкал, то не скавал бы тебе". Даже если предположить, что существует такое нелепое божество, оно вряд ли обратилось бы к нам, низшим из своих разумных творений. Я не жду от моего пса



похвал моей книге. Да, собственно, и не от всякого человека мне приятна похвала.

Но главного я еще не понимал. Я мыслил хвалу как похвалу, одобрение, которое кто-то кому-то выражает. Мне не приходило в голову, что всякая радость сама собой переходит в хвалу, если не спержишь ее из робости и деликатности. Мир только и делает, что хвалит и славит: влюбленные восхваляют возлюбленных, читатели — любимые книги, спортсмены — свой спорт; словом, все, кому не лень, описывает погоду, пейзажи, вина, блюда, актеров, машины, лошадей, приятелей, детей, цветы, страны, коллеги, горы, марки, насекомых, и даже политиков и ученых. Я же замечал, что особенно часто и много хвалят самые смиренные, злые и умные люди, а ущербные и глупые хвалят редко и мало. Хороший критик найдет, что похвалить в несовершенной книге; плохой — вычеркивает из литературы одну книгу за другой. Здоровый и доброжелательный человек найдет, за что похвалить самую скромную еду, даже если он привык к очень изысканной; а больной и сноб найдут недостатки в любом угощении. Если вычесть чрезвычайные обстоятельства, можно сказать, что хвала — словесное выражение душевного здоровья. Совершенно неважно, умелое оно или нет; многие любовные стихи так же ужасны, как гимны. Еще я не замечал, что, когда мы хвалим, мы дежно просим к нам присоединиться: "А? Правда? Нет, правда?"

Должно быть, мы так хвалим то, что нас радует, потому что хвала не только выражает, но и дополняет нашу радость, приводит ее до полноты. Не ради лести влюбленные повторяют друг другу, как они красивы, — радость их не полна, если они этого не скажут. Когда откроешь нового писателя, непременно надо рассказать, как он талантлив; когда внезапно увидишь прекрасную долину, просто невозможно молчать; когда услышишь хорошую шутку, нужно ею поделиться /та, кто понимала все это, умерла год тому назад<sup>х</sup>/.

---

<sup>х</sup>) Льюис вспоминает здесь свою жену Елену, которая умерла в 1960 г.; он сам умер в 1963 г., 66 лет.



Конечно, словами всего не перепашь. Вот если бы написать прекрасные стихи, или дивную музыку, или картину, наша радость была бы еще полнее. А если бы смертный человек мог достойно восхвалять самое высокое на свете, душа его достигла бы высшего блаженства.

Когда я думаю об этом, я понимаю христианское учение о том, что ангелы и блаженные души славят Бога на небесах. Это совсем не то, что "пойти в церковь". Наша "служба" — очень слабое подобие, мы только пытаемся там славить Бога, и в 99,9 случаев это нам не удается. Чтобы представить себе, о чем говорит это учение, мы должны предположить, что мы переполнены любовью к Богу, мы просто выдержать не можем такой любви и радости, они льются из нас, хлещут. В шотландском катехизисе сказано, что назначение человека — "славить Господа и радоваться Ему". В свое время мы узнаем, что это одно и то же. Полная радость и есть хвала. Когда Господь велит нам Его хвалить, Он велит нам Ему радоваться.

А пока мы, как сказал Донн, настраиваем инструменты. Это может поставить целое наслаждение, но только тому, кто хоть как-то провидит в этом симфонию. Иудейские заклания и даже самые святые наши обряды — обещание, репетиция, а на сам концерт. Как всякая репетиция, они требуют труда, а радости могут и не дать. Но без труда радости вообще не будет. "Выполняя религиозные обязанности", мы роем каналы в пустыне, чтобы вода, когда она появится, била где течь. Я хочу сказать, так бывает обычно: есть и другие минуты, и у некоторых поистине блаженных душ их много...

Что же по принципу: "Ты — мне, я — тебе", дело хуже. Этот глупый пережиток язычества действительно есть в Псалтири. Пламя не всегда чисто, но не в этом суть. Да и не нам смотреть свысока на самых корыстных псалмопевцев. Мы не торгуемся так простоушно; но можно молиться без слов. Я часто диву даюсь, что только не приходит в голову, когда молишься, какие идиотские сделки, оговорки, какие компромиссы вот-вот предложишь Богу, как по-детски нелепо с Ним препираешься. Язычество живо в нас. Его глупости и хитро-

сти кула сильнее его красоты и простодушия. Если вы наделены властью, нетрудно сломать свирели, остановить пляски, разбить статуи, стереть из памяти сказки; но очень трудно прикончить корыстного, запуганного ликаря, живущего в нашей душе. — ту жалкую тварь, которой Господь может сказать: "Ты это делал, и Я молчал; ты подумал, что Я такой же, как ты. Изобличу тебя, и поставлю пред глаза твои грехи твои".

Но все это нужно немногим из моих читателей. Остальные же могут подсмеяться и пожалеть того, кто так нагло ошибался и так долго, круглым путем, шел к очевидному.

## Х

### ИНОСКАЗАНИЯ

Теперь я должен перейти к тому, что гораздо труднее. До сих пор мы пытались читать псалмы так, как их надо было читать по замыслу псалмопевцев. Но христиане читают их иначе. Христиане находят в них иносказания, скрытый смысл, связанный с истинами Нового Завета — с Воплощением, Страстями, Вознесением, Сошествием Святого Духа. Так читают, собственно, весь Ветхий Завет. Предполагается, что полное его значение становится ясным только в свете событий, которые произошли через много лет после смерти написавших его людей.

Современному человеку нелегко это принять... Кто-кто, а мы знаем: при желании можно вычитать из текста все, что угодно. Особенно хорошо это знают те, кто пишет научную фантастику. Я с удивлением узнавал из хвалебных и из враждебных рецензий, какие глубокие аллегории содержатся в моих научно-фантастических книжках. Если примеешь метод толкований, порога открыта, обманывать себя и других ты можешь, как хочешь. Однако толковать Библию мы вправе. Что же делать? Кажется бы, гора неприступна; но я не полезу на утес. Я пойду круглым путем, и поначалу покажется, что до вершины мне не добраться.

Начну я очень далеко от Писания и даже от христианства.

Один римский историк рассказывает, что в небольшом городе случился пожар, и начался он в банях. Возникло подозрение, что там был пожар, и этому способствовало вот что: в тот же день, пораньше, один горожанин пожаловался, что в бане холодно, а банщик сказал: "Ничего, скоро будет жарко". Конечно, если и впрямь был заговор, и раб в нем участвовал, и был так неслыханно глуп, что не удержался от ненужной угрозы, — говорить нам не о чем. История касается нас лишь в том случае, если это чистое совпадение. Ответ раба полностью объясняется жалобой посетителя, именно так и ответил бы всякий банщик. Более глубокий смысл

слова его обрали совершенно случайно.

Возьмем случай посложнее. Незадолго до Рождества Христова Вергилий написал, что начинается даново ход вав-ков, небо посылает нам дивное дитя, и так далее. В Средние века верили, что по поэте пошло какое-то пророчество, быть может, через книги Сивилл; и самого его считали изы-ческим пророком. Современные ученые, насколько мне извест-но, в это не верят. Они могут спорить о том, к какой знат-ной или августейшей чете обращена столь непомерная лесть, но совпадение с Рождеством считают случайностью. Однако — совпадение это, по меньшей мере, гораздо удивительнее то-го, первого. Если это удача, то она поистине огромна /враг христианства сказал бы, что Вергилию чертовски повезло/.

Перейду к примерам другого типа и уровня. Здесь тоже кто-то говорит слова, которые в действительности глубже и даже истинней, чем он думает; но случайностью это наз-вать нельзя. Спешу заметить, что "не случайность" совсем не значит "пророчество", "преувещание", "ясновиление". Нет, у меня и малейшего намерения выдавать эти примеры за свидетельства в пользу христианства. Мы вообще не говорим о свидетельствах. Мы рассуждаем о том, как относиться к таким случаям, когда в тех или иных словах открывается позже новый, более глубокий смысл. Я пытаюсь показать, — что случаи эти — неоднородны. Иногда это чистое совпаде-ние, как бы удивительно оно ни было. Иногда же открывае-мая позже истина как-то связана с тем, что человек хотел сказать.

Приведу пример. 1) Святой, вдохновленный Богом, го-ворит нам, что где-то во Вселенной есть такое-то существо. Потом /не дай нам этого, Господи! / мы подбираемся по оби-таемым миров, неся туда собственную нашу греховность, и находим это существо. Вот — пророчество в полном смысле слова. 2) Писатель /который при этом не ученый/ выдумал и описал некое существо, а его потом нашли. Вот — чистая случайность, удача. Выиграть на бегах может и тот, кто ничего в них не смыслит. 3) Крупный биолог предсказывает,

что в такой-то и такой-то среде жизнь должна развиваться так-то и так-то. Вот тут, если мы найдем эти формы жизни, будет и не пророчество, и не случайность. Ученому помогли ученость и ум, а не удача. Истинная природа жизненных процессов объясняет, почему такое существо есть в мире, и почему оно есть в его книгах. Когда мы перечитаем эти книги, думая о находке, мы не внесем в них ничего произвольного. О случаях этого, третьего, типа я и хочу поговорить, хотя, как вы увидите, здесь сыграли роль вещи, которые выше и ума, и учености.

Платон в "Государстве" рассуждает о том, что добродетель ценят за ее ощутимые плоды — почести, хвалу, славу — но, чтобы увидеть ее как она есть, надо обнажить ее, очистить от них. И просит представить, что с совершенным праведником обращаются как с чудовищным злодеем. Его связывают, бичуют, прибивают к столбу /персидский вариант распятия/. Читатель-христианин протирает глаза, чуть ли не в ужасе. Что же это? Опять удача и случайность? И видит, что ни того, ни другого здесь нет.

РАБ — несомненно, Вергилий — вероятно, "говорил о чем-то другом". Платон, прекрасно это сознавая, говорил о судьбе праведности в злом и неумном мире, то есть — именно о том, что полнее всего выразилось в Страстях Господних. Если слова эти обаяны, в той или иной мере, смерти /я даже сказал бы "мученичеству"/ его учителя, это ничего не меняет. Несовершенная, хотя и очень высокая праведность Сократа привела его к легкой смерти, совершенная праведность Христа — к Распятию, по одной и той же причине: потому, что праведность — это праведность, а падший мир — это падший мир. Вдумываясь в сущность праведности и мира, Платон подошел так близко к истине не потому, что он был удачлив, а потому, что он был мудр. Если человек, не выезжавший из Англии, заметит, что на высокой горе снег тает позже, он может додуматься по этому, что на очень высоких горах есть вечные снега. Когда он увидит Альпы, он не скажет: "Какое совпадение!", он скажет: "Ну вот! Говори же я!".

А как нам быть с многочисленными языческими богами, которых так и называют "умирающие и воскресающие"? Как ни смешно, именно ученые, враждебные нашей вере, скажут вместе с нами, что "совпадение не случайно". Правда, они при этом думают: "У всех этих претрассупков — один и тот же источник, и в опыте, и в ~~внутреннем~~ сознании. Скорее всего, это связано с земледелием. Вад миф о Христе похож на миф о Бальдере, потому что у них одинаковое происхождение; это, так сказать, семейное сходство". Христиане думают разное, одни — одно, другие — другое. Многие из Отцов Церкви, считавшие язычество чистой бесовщиной, сказали бы: "Как все умелые лжецы, дьявол старается, чтобы его ложь была особенно близка к правде; потому мы и зовем его обезьяной Господа. Сходство между Аполлоном и Христом не случайно, как сходство между подлинником и пародией, между жемчугом и подделкой". Те же, кто считает, как я, что в языческой мифологии есть и божественное, и бесовское, и человеческое /вкус к доброму рассказу/, скажут так: "Да, это не случайно. Смена ночи и дня, смерть и воскресение растений породили смутное и трудно выразимое знание: и человеку надо пройти через смерть, если он хочет жить в истинном смысле слова. Сходство этих мифов и христианской истины не более случайно, чем сходство между солнцем и его отражением в воде, между историческим событием и народным преданием о нем, между деревьями и холмами наяву и во сне". Как видите, сторонники всех трех точек зрения сочтут сходство неслучайным.

Другими словами, мифы, стихи или фразы, обретающие в свете позднейших событий новое значение, — неопорочны. — Мы, конечно, в любом случае вправе приписывать им новое значение, но это наше частное дело. Если, читая Вергилия, я не могу не думать о младенце Христе и даже специально беру эти стихи под Рождество, польза мне будет; но, вполне возможно, я ему приписываю то, о чем он и не думал, как не думал о пожаре банщик. Если же я, читая Платона, размышляю о Страстях, — это дело другое. Я знаю, в чем тут связь, Платон — не знал, но она есть, я ее не выдумал. вполне возможно представить себе, что Платон, или создатель



мифа, узнавши истину, сказали бы: "Вот оно, что!.. Вот о чем я пытался поведать, сам того не ведая". Белый банщик, конечно, сказал бы: "Да что вы, я и не думал!.." Что сказал бы Вергилий, я не знаю.

/Нет, будем милостивее и представим, что они не "сказали бы", а "сказали", ибо давно узнали и признали истину — "многие придут с востока и запада и возлягут в Царстве Небесном..."/.

## ИНОСКАЗАНИЯ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ

Если в языческих текстах могут быть иносказания тогда, о котором я только что говорил, вполне резонно предположить, что в Ветхом Завете их больше. У нас, христиан, две причины так думать:

1) Для нас Писание — "священно" или "Боговдохновенно". Слова эти понимали по-разному, и мне бы нужно объяснить, как понимаю их я, хотя бы — по отношению к Ветхому Завету. Меня считают приверженцем полного, безоговорочного принятия всех текстов, как исторических. Мнением этим я обязан тому, что не отвергаю того или иного текста, если в нем речь идет о чудесах. По-видимому, многим так трудно верить в чудеса, что они и представить не могут другой причины моих странных поступков, кроме буквального принятия всей Библии. Но я повинен в нем не больше, чем Иероним, сказавший, что Моисей описал сотворение мира "как народный поэт", то есть, на нашем языке, — "как мифотворец". Я принимаю истории, в которых есть чудеса, просто потому, что еще не нашел философских оснований для отрицания чудес. Когда же я решаю, историчен ли тот или иной текст, критерий у меня совсем другой. "Книга Иова" не кажется мне исторической потому, что в ней идет речь о человеке, не связанном ни с какой генеалогией и живущем в стране, о которой в Писании ничего не говорится; короче, потому, что автор явно пишет как писатель, а не как летописец.

Поэтому мне ничуть не трудно согласиться с учеными, которые считают, что рассказ о сотворении мира происходит от более ранних языческих мифов. Конечно, надо понимать, что значит слово "происходит". Повествования не плоятся, как мифы; их рассказывает человек, и каждый рассказчик или меняет их, или нет. Менять их он может и намеренно, и бессознательно. Если он меняет их намеренно, в дело идут его воображение, его чувство формы, его эстетические взгляды, его представление о том, что навидательно, полезно или просто занятно. Таким образом, в так называемое /не совсем

точно/ развития повествования непрестанно вмешиваются люди. Люди же, да и никто вообще, не могут делать ничего доброго без Божьей помощи. Когда длинный ряд изменений превратил легенду, не имевшую религиозного или философского смысла, в историю о творении из ничего и о трансцендентном Творце, я ни за что не поверю, что некоторых рассказчиков, хотя бы одного, не вдохновлял Бог.

Таким образом, миф, который мы находим у многих народов, понят Богом ная-самим-собой, признан Им и призван служить тому, чему он сам по себе служить не мог. Обобщая, скажу: по-видимому, Ветхий Завет состоит из всего, из чего состоит любая словесность, — в нем есть хроники /нередко очень точные/, стихи, политические и нравственные рассуждения, любовные истории и многое другое, но все это служит слову Божию. По-разному, конечно, — пророки пишут, ясно ощущая Божью руку; летописцы, быть может, просто записывают события; стихотворцы, сложившие "Песнь песней", — наверное, ни о чем не думали, кроме самого приятного мирского смысла. Кроме того, и это очень важно, все это перенесено на труд и мучейской, и христианской Церкви, сохранивших, бедобравших и освятивших именно эти книги. Прибавьте еще труд всех тех, кто правил и исправлял их. Каждому помогал Бог; но не каждый об этом знал.

Свойства сырья вполне ощутимы. Мы встретим нелепости, ошибки, противоречия, даже грех /вспомните главу о проклятиях/. Ветхий Завет — Слово Божие, но совсем не в том смысле, что каждая фраза в нем верна и безупречна. На нем — печать Божьего слова; а мы — с Божьей помощью, с почтенными толкователями, которые были мудрее нас, и во-всеоружии того ума и той учености, какие нам отпущены, — примем это слово, но не как энциклопедию и не как энциклику; мы войдем в него, настроимся на его волну и тогда поймем всю полноту сообщаемой им вести.

Нам, людям, это кажется истинным расточительством. — Какая, в сущности, несовершенная и неполная возгонка мирского сырья! Насколько бы лучше прямо получить чистый свет последней истины, и притом упорядоченно, в системе, чтобы

мы могли заучить все это, как таблицу умножения. Поневоле позавидуешь тем, кто верит в совершенную непогрешимость Писания и Церкви. Но остережемся таких рассуждений: Бог делает все, как лучше; это — лучше, значит — Богу надо сделать именно это. Мы смертны и не знаем, что для нас лучше, и нам опасно приписывать Богу, как Ему поступить, тем более, что здесь, на земле, мы не видим Его пак со всех сторон, совершенно.

Нетрудно увидеть, что учение Самого Господа, в котором уж точно нет пятна и порока, дано нам не в том четком, гарантийном, систематизированном виде, какого бы мы хотели и ждали. Христос ничего не написал. Мы располагаем лишь пересказами Его слов, чаще всего — ответов, обусловленных вопросом или хотя бы контекстом. Если же мы соберем их, в систему нам их не привести. Христос учил, но лекций не читал. Он прибегал к параболам, поговоркам, преувеличениям, притчам, иронии, даже /не считите это кощунством/ — к остротам. Он говорил вещи, которые, если принять их буквально, противоречат друг другу, как пословицы. Тем самым, учение Его не схватишь одним умом, не "усвоишь". Если мы попытаемся, у нас ничего не выйдет, и мы решим, что Христос был на редкость уклончив. Он едва ли давал прямой ответ на прямой вопрос. "Поймать" Его /снова простите кощунство/ — не легче, чем загнать в бутылку солнечный луч.

Спускаясь ниже, мы встретим похожую трудность, читая апостола Павла. Наверно, не я один удивлялся, почему Бог, отпустивший ему столько даров, облачил его даром ясности и систематичности, который вроде бы нужен родоначальнику христианских богословов.

Итак, на трех уровнях — в Писании, у Христа, у апостола — мы не находим того, что считаем лучшим. Если это сделал Бог, значит — Ему виднее. Быть может, нам было бы очень вредно получить то, что мы хотим. Быть может, именно потому, что учение Божье ускользает от нашего систематизирующего разума, мы вынуждены принять его всем нашим — духом, и понять, что мы не "изучаем предмет", но входим в общение с Личностью, обретаем новое зрение и новое

сердце, пишем новым воздухом и, вместе с Богом, по-Божьи, стараемся восстановить в себе Его искаженный образ. До же самое и с апостолом. Наверное, то, чего мы от него ждем, было бы бесполезно. Он сбивчив, нам часто кажется, что он не поводит мысль до конца, и даже, что он попускает натяжки, он впадает в подробности, он жалуется, он воспаряет — духом, и все это вместе являет нам то, что важнее ипей, — самую христианскую жизнь. Мы видим, как Христос действует в человеке. Вполне может быть, что ценность Ветхого Завета тоже зижлется на его видимых несовершенствах. Он отказывает нам в одном, чтобы мы обрели другое — прошли вместе с Израилем весь путь постепенных Откровений Божьих, и ощутили самую борьбу Слова с материалом, на котором Оно трудится. Вепь и зпесь мы должны откликнуться не умом, а всем существом.

Например, мне кажется, что, пробираясь к голосу Божьему через проклятия псалмов, я получил больше, чем получил бы от этического трактата. Тани сказали мне много про самый свет. Я ни за что не отказался бы теперь от такой антирелигиозной штуки, как нигилизм "Екклесиаста". Книга эта — холодно и ясно изображает человеческую жизнь без Бога. Такое свидетельство — часть Божьего слова; мы должны его услышать. Если даже прочитать один "Екклесиаст" из всей Библии, больше пошвищешься к истине, чем многие люди.

По-видимому, помыслы наши о том, почему Бог пелает так, а не иначе, стоят не больше, чем помыслы моей собаки, которая смотрит, как я пишу. Причины мы можем только угадывать; но методы Его, пути мы все же видим, и вправе заметить их особенности. В "Книге Бытия" мы читаем, что Бог создал человека из праха и влохнул в него жизнь. Вполне — возможно, что строки эти иллюстрируют устойчивость языческих представлений: люди просто не могли себе представить, как это что-нибудь с о т в о р е н о, им непременно было нужно, чтобы Бог пелал что-то из чего-то, как горшечник или столяр. Однако по счастливой ли случайности или /мне кажется/ по воле Божьей, зпесь воплощен важнейший принцип. Человек и вправду спелан "из чего-то". Он — животное, призванное или, если хотите — обреченное быть больше,

чем животным. Мноли мои об эволюции не имеют религиозного значения, и здесь я говорю лишь о том, что с биологической точки зрения один из приматов изменился, стал человеком, но остался при этом и приматом, и животным: Он обрел новый вид жизни, не оставляя старой. Точно так же всякая органическая жизнь лишь использует химические процессы. Принципы можно провести не только ниже, но и выше: не оставляя человеческой жизни, можно войти в жизнь Божию. Так и Писание: оставаясь словесностью, оно становится и Словом. Ничего необычного в этом нет.

На каждом уровне, как я говорил, низшее остается, не исчезает под бременем высшего, и потому можно только его и заметить. Можно читать о жизни Христа, как о человеческой жизни /вель это и есть человеческая жизнь/. Многие современные философы видят в человеческой жизни исключительно усложненную жизнь животного. Картезианцы видят животное как механизм. Так и Писание можно читать, как читают любую книгу. Никакие открытия, никакие методы не покажут и не отвергнут такого подхода. Вель во всех перечисленных случаях нужно не знание, а проникновение, верный взгляд, напе видеть все в фокусе. Того, кому видно лишь низшее, переубедить нельзя. Если вам кажется, что стихи — это черточки на белой бумаге, ни микроскоп, ни анализ чернил вам не помогут.

2) Вторая причина гораздо проще и, наверное, убедительней. Спаситель Сам открыл нам, что Ветхий Завет полон указанием. По пути в Эммаус Он говорил ученикам, что они должны бы знать из Писания, как придет к славе помазанный Божий, и объяснил им "с Моисея" /то есть с самого начала, от Пятикнижия/, все, что сказано о нем /см. Лк. 24, 25-27/. Он прямо отождествил Себя с лицом, неоднократно упомянутым в Библии, и отнес к Себе многие тексты, в которых современные ученые такой связи не видят. По всей вероятности, так и Он это и тогда, когда претсказывал Свои Страсти. Он признавал, нет, Он утверждал, что именно о Нем и говорится иносказательно в Писании.

Мы не знаем /во всяком случае, я не знаю/, какие именно эти места. Одно из них, по крайней мере, мы можем наз-



вать точно. Когда эфиопский евнух встретил Филиппа /Деян. 8,27,38/, он читал главу 53 Исаии и не знал, о себе или о ком ином говорит в ней пророк. Филипп в ответ рассказал ему о Христе. Другими словами, он сказал, что Исаия говорит о Нем. Можно не сомневаться, что Филипп знал это точно. /Наши предки думали, что Исаия сознательно предвидел страдания Христа. Наши ученые скажут, что сознательно он имел в виду свой народ. По-моему, разница эта не имеет значения/.

Кроме того, из слов на Кресте /Мк.15,34/ можно вывести с уверенностью, что Христос отождествлял Себя со страдальцем из 21 псалма. В сцене, описанной у Марка, Он отождествляет Себя с "Господом моим" из псалма 109, показывая, что лишь тайна Воплощения придает смысл его первому стиху. Слова из 90 псалма об ангелах-хранителях /Мф.4,6/ Он тоже относит к Себе, и мы вправе не сомневаться, что так оно и было, ибо только Он один мог рассказать ученикам об искушении в пустыне. Относит Он к Себе и текст из 117 псалма /стих 22/ о камне, отвергнутом строителями /Мк.12,10/. В "Деяниях" текст "не дашь святому Твоему увидеть тление" - /псалом 15,10/ воспринимается как пророчество о Воскресении, и, должно быть, апостолы слышали это от Него. Все же первые христиане были ближе к букве, и к духу Его слов, чем самые ученые /я не говорю "самые святые"/ наши современники. А, в сущности, в словах Его и нет никакой "буквы". Читая Евангелия, буквалист не сведет концы с концами и не построит системы. Только сеть, широкая, как сердце, и тонкая, как милосердие, удержит Того, чьим знаком была рыба.

## ХП

### ИНОСКАЗАНИЯ В ПСАЛМАХ

В определенном смысле толкования псалмов объединяли Христа с Его противниками. Например, слова о 109 псалме /см. выше/ были бы невозможны, если бы обе стороны не принимали без споров, что под "Господом моим" разумеется Мессия, то есть царь, помазанник Божий, освободитель Израиля. Такой метод принимали тогда все. Все знали, что у "Писаний" есть второй, "духовный" смысл. Даже праведные язычники, вроде евнуха-эфиопянина <sup>х)</sup>, знали, что священные книги Израиля нельзя понять без толкователя, который способен открыть их сокровенные значения. Наверное, все образованные мудрецы 1 века видели указания на Мессию в тех же самых фразах, в которых их видел Иисус. Отличие было в другом: Он отождествлял царя-помазанника с другим лицом из Ветхого Завета, а оба эти лица — с самим собой.

В псалмах говорится и о торжествующем царе, и о невинном страдальце. В 129, 219, 54; 101-речь идет о Страдальце; во 2 и 71 — о царе. Если не ошибаюсь, страдальца к тому времени отождествляли со всем народом в его настоящем, как он есть; под царем же понимали грядущего освободителя из дома Давидова. Христос, повторяю, отождествлял Себя и с тем, и с другим.

Таким образом, "читать между строк" нам позволили и пожелал самый высокий авторитет. Но это не освящает всего, что мы там вычитаем. Нерешко, глядя в глубины Писания, мы видим только наши глупые лица. И мне, и многим моим современникам кажутся смешными и натянутыми некогда общепринятые толкования. Наверное, очень часто такими они и были, но не нам решать, когда именно. На земле нет беспристрастного судьи, который мог бы рассудить спор столетий. Никто не стоит вне истории, и больше всех поработен ею — тот, кому кажется, что наш век — не один из веков, а высший помост, откуда можно, наконец, объективно рассмотреть

х) По-видимому, он был из т.н. "боящихся Господа" /"себямоющей", "*metuentes*"/, т.е. — из тех, кто чтит Бога Израилева, не выполняя ритуальных предписаний Закона /прим. автора/.

Приглядимся к некоторым толкованиям. Псалом 109 принято петь под Рождество. Этому и впрямь можно удивиться: в нем нет ни слова о мире, о благоволении, нет умиления, утла, убожества Вифлеемских ясель. Вероятно, написан он — на коронование или хотя бы во славу какого-то царя. Он полон угроз, он никак не утешает, а как бы говорит: "Берегись!". Мы вправе связывать его с Христом по двум причинам; об одной мы недавно говорили /см. Мк. 12/; другая — упоминание о Мельхиседеке. Согласно "Посланию к евреям", этот в высшей степени загадочный персонаж — символ Христа, живое пророчество о Нем /см. Евр. 7/. Мы не знаем, как именно толковал апостол на своем языке 14 главу "Бытия", — но главное, вероятно, сохраняется даже в переводе с перевода. Конечно, отсутствие родословной ни в коей мере не значит, что Мельхиседек просто не было, но оно ставит его как бы в стороне от повествования. Он является неизвестно откуда, благословляет Авраама "от Бога всевышнего, властника неба и земли", и куда-то уезжает. Поневолле чувствуешь, что он из другого мира — не загробного, земного, но другого. Для него нет сомнений в том, что он выше Авраама, и тот это понимает. Я не знаю, что сказал бы нам автор или последний из авторов "Книги Бытия", если бы мы спросили его, что это значит; но, как я уже говорил, я верю, что на основании этой книги лежит Божья печать. Один результат рассказа о Мельхиседеке мне ясен: читателю накрепко врезается в память мысль о том, что жреческое служение не языческим богам, а Единому Богу существовало очень давно, по колена Авраамова, по Авраама, независимо от его призвания. Древний, попуейский жрец — в то же время и царь. Это бывало, но не в Израиле. В определенном смысле один Мельхиседек из всего Ветхого Завета подобен Христу. Христос, как и он, считает себя не только царем, но и священником, хотя не происходит из рода священнослужителей. Мельхиседек действительно указывает на него, как и герой 109 псалма, который тоже и царь, и священник, не происходящий от священников.

Для мучей, обратившегося в христианство, это было исключительно важно. Можно показать, почему Иисус — сын Дави-

лов; но никоим образом не покажешь, что Он восходит к Аарону. Тем самым, нужно было принять, что есть священство, независимое от колена Ааронова, более того — что священство это выше Аароновой чреды. Мельхиседек освящал это авторитетом Писания. Для нас, христиан из язычников, все наоборот: нам гораздо легче понять и принять священство Христа. Мы почти не ощущаем, что Он — Царь и Победитель, и псалмы помогают нам это ощутить. Откроем 44-й псалом, и услышим: "Препояжь себя по бедру мечом Твоим, сильный, славою и красотою Твоею, и в сем украшении Твоем доспеши, возсядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница Твоя докажет дивные дела. Остри стрелы Твои, народы падут перед Тобою". В псалме 88 мы читаем обетования Давиду, то есть всем или многим его потомкам /как "Иаков" или "Израиль" обозначает потомков Иакова/. Господь обещает сокрушить пред Ним врагов его, поразить ненавидящих его, Давид будет звать Бога отцом, а тот сделает Его первенцем, который выше царей земли /24-28/. В 131-м снова идет речь о Давиде: "Врагов его облеку стыдом, а на нем будет сиять венец его" /18/. Все это выделяет тот смысл Рождества, о котором мы почти не помним. Прочитайте эти псалмы, как песни на Рождество Христово, и вы ощутите, что оно было вызовом, угрозой миру сему. Псалмы возвещают, что пришел, наконец, долгожданный защитник, который сразится со смертью, дьяволом, злом и победит их. Мы знаем, что и сам Спаситель воспринимал свой приход именно так. Из европейских поэтов эту сторону Рождества хорошо ощутил и описал один Мильтон.

Если так прочитать псалмы, Рождество обретет для нас утраченную полноту. С Рождением Христа в мир пришел великий Царь и великий воин. Но это не все: пришел и жених "прекраснее сынов человеческих". Мы не всегда ощущаем, что духовно это значит не только "возлюбленный", но и просто "будущий муж" — тот, кто даст тебе детей. Когда псалмопевец говорит: "... забудь народ твой и пом отца твоего", слова эти, конечно, имеют прямой и печальный смысл; и нам, и ему жалко девушку /вероятно, очень юную/, которая плачет в чужом ей доме, предвидя все беды, какие сулит династи-

ческий, да еще восточный брак. Псалмопевец прекрасно их знает, у него самого, наверное, есть дочь, и он утешает невесту: " вместо отцов твоих будут сыновья твои". Но это как нельзя лучше подходит и к обручению церкви с Христом. Высокая честь призвания обходится дорого. Поначалу /а иногда и позже/ очень трудно оторваться от "нормальной жизни". Даже переход от одного уровня жизни на другой и то нелегко - человек знает трудности и печали, неведомые другим приметам. Выйти же за пределы "человеческого" - особенно трудно. Господь говорит Аврааму: "пойми из земли твоей, от рождества твоего и из дома отца твоего, /и иди/ в землю, которую Я укажу тебе /Быт.12,1/. Повеление это ужасно - надо уйти от всего, буквально от всего, что ты знаешь. А утешение /утешает ли оно в этот, первый час?/ - такое же, как в псалме: "Я произведу от тебя великий народ". В Новом Завете Господь повторяет и усиливает повеление, требуя возненавидеть мать, отца, самую жизнь. Он говорит здесь в Своем, особом духе, как бы в притче - речь идет не о ненависти, не о злобе, а о полном отказе от естественных связей, если понадобится такой чудовищный выбор. Даже и так, текст этот - только для тех, кому он страшен! Мужчине, которого воротит от собственного отца, женщине, из-за всех сил старающейся не возненавидеть мать, лучше не читать его. Но вернемся к псалму. Утешение невесты - не в объятиях жениха, а в детях. Если она не потечет водою живою, не принесет плода, не станет матерью святым и святости, мы вправе предположить, что брак ей померещился.

... Псалом 8 связывают с Вознесением, и толкование это подтверждено авторитетом апостола. В прямом своем смысле псалом пренебрежительно проет - автор его, истинный поэт, дивится человеку и месту его во вселенной /у Софокла есть хор примерно о том же/. И впрямь, глядя на звездное небо, удивляешься, что Бог вообще замечает таких тварей, как мы. Он создал нас ниже сил небесных, но здесь, на земле, одел великой честью: поставил нас всем тварным миром. Апостол это наводит на мысль, по которой не думаешь без благодати. Псалмопевец сказал, что Господь поставил человека



"взвешивал на ладонях Своих: все положил под ноги его"  
; апостол прибавил /см. Евр. 2,6-9/, что теперь, в нынеш-  
нем мире, это еще не совсем верно. Нас, людей, убивают,  
и нам, людям, вредят звери, ядовитые растения, холод,  
стихийные бедствия — словом, природа. В "научном смысле"  
автор псалма вроде бы и неправ. Но мало поправить его так,  
как обычно поправляют: "это — неверно, Писание верно, зна-  
чит, речь просто идет не о настоящем, а о будущем". Лучше  
скажем: "это верно и теперь, не только в поэтическом смыс-  
ле, но и в другом, очень важном". Двигаемся же по пути, ве-  
дущему к этому смыслу.

Мы знаем, что Христос вознесся на небеса. Знал это и  
апостол Павел, когда писал, что Христос — "первенец из  
умерших" и что в Нем "все оживут", а Ему Господь покорил  
все. Если мы, кроме текста из "Послания к Евреям" прочи-  
таем и этот текст, мы убедимся, что в первохристианской  
церкви было принято толкование, быть может — восходящее  
к самому Христу. Как никак, Он особенно любил, чтобы Его  
определяли словом пророка: "Сын Человеческий", то есть  
"архетип человека" /ср. "Дочь Вавилона" — Вавилон/, чье  
страдание и славу может разделить каждый из людей, если  
сам не откажется.

Я думаю, об этом нужно напомнить христианам. Мало кто  
чувствует в наше время, что в вечности пребывает прослав-  
ленный человек. Мы видим человека Христа лишь на земле, и  
то от Рождества до смерти, словно Он побыл человеком и  
снова стал "только Богом". Воскресение и Вознесение для  
нас — великие победы Бога, это так; но ведь они — и вели-  
кие победы Человека. 8-й псалом, к нашей радости, напоми-  
нает нам об этом. Страсти и славу Спасителя мы вправе со-  
поставить с уделом человека: и там, и здесь мы видим уничи-  
жение — и величие, беззащитное начало — и живую судьбу.  
Сопоставление это не кажется мне натянутым.

Но я забрел в край чудес, которые выше моего разуме-  
ния. Поговорим лучше под конец о более простых вещах.

Нередко нас поражает, что псалмопевцы искренне не ви-  
дят в себе греха; вряд ли так уж сильно меняет дело то, что



иногда подразумевается весь народ или даже его "малый остаток". Конечно, кое-что это меняет: "остаток" был и свят, и праведен по сравнению с окружающими его языческими народами. Он часто страдал без вины — в том смысле, что страдания его были гораздо больше недостатков, а те, кто их причинял, были много хуже него. Но предстояло прийти Тому, Кто свят и праведен в полном смысле этих слов. В устах Иисуса этим стихам предстояло стать безоговорочной истиной. Значит, их надо было сознать, чтобы люди узнали, что совершенное, всепрощающее, кротчайшее милосердие может вызвать в таком мире, как наш, не любовь, а ненависть, поношение, смерть. Мы, христиане, слышим в этих стихах голос Христа: Он и впрямь говорил, что греха в Нем нет. /Вот немаловажный для нас повод — ведь и врагам христианства Иисус не кажется гордым или самоповольным; они гораздо меньше, чем от них ждешь, дивятся, что Он "кроток и смирен сердцем"; однако говорил Он такое, что, кроме Бога, скажет только гордец из гордецов, если не параноик/. . .

Под "проклинаящие псалмы" каждый из нас подставляет свое; но не забудем, что аллегории эти — на совсем другом уровне, чем истинный их глубинный смысл. Гнев нужно направить на зло, лучше всего — на наше собственное. Читая о "беззаконном" в псалме 35, неплохо вспомнить, что самый известный нам пример — мы сами; и когда псалом взмоет вверх, стих "милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков" особенно поразит и тронет нас. При таком чтении можно вынести даже стих о вавилонских младенцах. Много в нашей душе подобно младенцам — скажем, начатки мелких попущений и мелких досад, которые могут разрастись в пьянство или злобность, а сейчас кажутся такими маленькими и беззащитными, что сопротивляться им как-то даже и жестоко, словно ты обидишь зверька. Они так жалобно хнучут: "Да мне немало надо!" или "Подумай и о себе!". Вот к ним и подходит как нельзя лучше стих из псалма 136. Поистине, блажен, кто разобьет их о Камень — это легче посоветовать, чем сделать.

Наконец, иногда мне неотступно слышится иносказание, о котором я нигде не читал. Автор 83 псалма говорит: "Один

день во дворцах Твоих лучше тысячи", имея в виду именно это: один день у Бога лучше, чем тысяча без Него. Но я всегда думаю здесь о том, о чем, насколько мне известно, ветхозаветные авторы не глумили. Мысль эта есть в Новом Завете. В послание 89 говорится, что пред очами Божиими "тысяча лет, как день, вчерашний". Апостол же Петр прибавляет, что у Господа один день, как тысяча лет". Псалмопевец, по-видимому, просто хотел сказать, что Бог вечен. В послании Петра мы вообще выходим за пределы времени. Положено начало /в христианской традиции, у Платона это было/ представлению о вечности как о вечном настоящем. С такой точки зрения строки 83 псалма обретают дополнительный смысл. Бог может явиться нам в отрезке времени — в дне, минуте, секунде; но коснемся мы тогда того, что со временем несоизмеримо. Мы надеемся выйти если не из времени, то хотя бы из его плена, из его одномерного убожества, и тем исцелить ноющую боль, которую этот плен причиняет нам и в счастье, и в несчастье. Вещь мы так плохо примирились со временем, что постоянно ему живимся. "Как он вырос!" — восклицаем мы, "Как время бежит!" — словно такая привычная вещь остается для нас новостью. ... Это очень странно, словно рыба не может привыкнуть к воде. Не странно это лишь в том случае, если рыбе предназначено выйти на сушу.

§§§§§§§§§§§§§§§§